

Оглавление

СКАЗКИ ДЛЯ МИШИ3

ИСТОРИЯ С МЫЛЬНЫМ ПУЗЫРЕМ3

ЧЕРТЕНОК И ПОРТНОЙ………………………………………5

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА………………………………………..7

РАССКАЗЫ9

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!.............................................................................9

САМОВАР-ГОЛОВА……………………………………………14

МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ……………………………………………38

ПЕРЕКУР С ДРЕМОТОЙ……………………………………….46

РЕЧЬ Г-НА ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА94

# СКАЗКИ ДЛЯ МИШИ



ИСТОРИЯ С МЫЛЬНЫМ ПУЗЫРЕМ

Один мальчик (не в пример некоторым, очень послушный мальчик) утром, как обычно, умывался холодной водой с мылом. Он хорошо намылил руки и стал мыть лицо. Пена попала ему в нос, он чихнул, и несколько мыльных пузырей вылетело из-под его ладоней. Заметавшись по ванной, они в напрасных поисках выхода тыкались в стены и лопались. И лишь один из них, самый большой, подхваченный сквозняком, прошмыгнул в щель приоткрытой двери, поплыл по коридору на кухню и вылетел в распахнутое настежь окно. Какой прекрасный мир открылся его глазам! Вверху - бездонное голубое небо, с которого ему улыбалось сверкающее солнце, а внизу – зелень цветущего сада. У Мыльного Пузыря дух захватило от такой красоты, он стал еще больше и засверкал всеми цветами радуги, отражая в своих боках и голубое небо, и зелень деревьев, и ослепительные солнечные лучи. Невыразимая радость охватила его: как прекрасен мир, в котором он очутился! И как славно жить в этом мире! Он спустился пониже к ветвям яблонь, чтобы посмотреть, нет ли там кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться распиравшим его счастьем. Оказалось, что сад был заселен, как большой город. Множество букашек и козявок суетились на листьях деревьев. Занятые своими делами, они не сразу заметили появление сияющего Мыльного Пузыря.

Наконец один муравей, забравшийся на самый верхний лист на макушке дерева, закричал:

- Братцы! Посмотрите, что за чудо парит в воздухе!

И все задрали свои (у кого они были) головы вверх и выпучили свои (у кого они были) глаза на диковинный шар.

- Нечего глазеть по сторонам! – строго сказал муравьиный начальник. – Вон товарищи твои дохлую муху тащат-надрываются. Помог бы лучше!

А Мыльного Пузыря прямо-таки распирало от восторга. Ему хотелось крикнуть букашкам: ну как же они могут не замечать вокруг себя такой красоты?! Но кричать-то он и не мог: ведь стоило ему только открыть рот – и воздух в один миг вышел бы из него. Так что счастливцу ничего не оставалось, как только пуститься в пляс у самых веток с разинувшими свои рты букашками. Забыв осторожность, он коснулся боком яблоневого листа и … Ну и конечно, лопнул.

И никто даже не понял: куда он вдруг подевался? Только на шершавой ладошке листа появилась малюсенькая капелька. Да и та вскоре испарилась под лучами летнего солнца.

- Летают тут всякие, только от дела отвлекают, - проворчала старушка Божья Коровка, когда на спину ей что-то вдруг брызнуло. И принялась своим беззубым ртом жевать очередную сладкую тлю.

Так не оставив следа, и закончилась короткая жизнь веселого Мыльного Пузыря …

Хотя я слышал, что вскоре после этого события некий Жук-Дровосек бросил свое ремесло и, вместо заготовки дров, написал большую научную статью. В ней он неоспоримо доказал, что появившийся недавно в саду шар был не что иное, как космический корабль с насекомыми-инопланетянами на борту. Он даже в точности определил место в галактике, из которого прибыли космические пришельцы, а причины разрушения их корабля объяснил новейшими данными какой-то мудреной физической теории. Говорят также (но этому я, сказать по совести, не очень верю), что за свое открытие Жук-Дровосек будто бы даже получил ученую степень …

А впрочем, чего только не случается на этом свете!

28 ноября 1996 года

## ЧЕРТЕНОК И ПОРТНОЙ

Один Чертенок, ученик третьего класса спецшколы для чертенят (что находится, как известно, в районе Октябрьского Поля) прогуливался однажды на улице. А был он, надо сказать, круглый пятерочник и потому считал, что на свете осталось мало такого, что было бы ему неизвестно. Шел он безо всякой цели, глазея по сторонам, и вдруг увидел в открытом окне первого этажа Портного, который, сидя на столе, сматывал куски материи. И тут выяснилось, что портновской-то работы Чертенок никогда не видел. Ну как же он мог не сунуть свой пятачок в окно и не посмотреть, как работает Портной? Работа у того спорилась, но вот, когда старичку приходилось вдевать новую нитку, подслеповатым его глазам даже и очки плохо помогали, и он долго целился, прежде чем попасть в игольное ушко.

Смотрел-смотрел Чертенок да и говорит:

- Послушай, Портной! Я вот смотрю: неправильно ты работаешь, не так бы надо делать.

Взглянул Портной на Чертенка и спрашивает:

- Что же я не так делаю?

- Да ты уж больно часто нитку в иглу вдеваешь. Сколько времени на это у тебя уходит!

(Он так и сказал: времЕНИ, а не времЯ, как говорят не слишком грамотные черти. Вот что значит хорошо учиться!)

- А как же, по-твоему, шить следует? – удивился Портной.

- Дай-ка я тебе покажу!

И Чертенок впрыгнул к Портному в окошко.

- Ну что ж, показывай, – уступил свое место Портной.

Чертенок уселся на стол, вдернул нитку в иголку, а потом отмотал с катушки все, что на ней оставалось, и завязал на конце узелок.

- Теперь смотри, - сказал он Портному, - так уж и быть, учить тебя буду.

(Это он, конечно, шутил).

Он сделал стежок и стал нитку натягивать. Аж до самого потолка лапу задрал. Но лапы ему, конечно, не хватило. Тогда он соскочил со стола и попятился к окну, а нитка все тянулась и тянулась. Пришлось Чертенку вылезти в окно, пересечь тротуар и, все так же пятясь задом, выйти на проезжую часть улицы. (А нитке, казалось, и конца не будет). Пятился он, пятился – тут и сшибла его вынырнувшая из-за угла машина. И шофера, я скажу, здесь винить не приходится: если все начнут в неположенном месте переходить задом наперед улицы, то как же тут можно избежать беды?

Хорошо еще, что сбившая Чертенка машина была Скорая помощь. Она же и увезла его в Филатовскую больницу.

И когда лежал Чертенок на больничной койке с загипсованной ногой, вспомнил он изречение главного Беса, которое на самом видном месте висело в их классе под его же, Беса лысого, портретом: Нашим славным чертенятам надо учиться, учиться и еще раз учиться!

И подивился мудрости величайшего изо всех бесов, когда-либо топтавших землю.

И ведь верно: золотые слова!

6 декабря 1996 года

### ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА

К большому злодею по прозвищу Хасан-душегуб, разбойничавшему неподалеку от Багдада, как-то поутру, когда он еще отсыпался после обычных своих подвигов, явился архангел Азраил, разбудил его и голосом, подобным звуку трубы, возвестил:

- Слушай, что я скажу тебе, Хасан! Терпение Аллаха от вида творимых тобой злодеяний истощилось. Сегодня же, лишь солнце коснется края земли, за тобой придет Смерть. Я бы мог, впрочем, и в сию минуту прервать нить мерзкой твоей жизни, но не хочу лишать тебя возможности смягчить свою посмертную участь. Если в этот, последний, день своей жизни ты от всего сердца раскаешься в гнусных твоих делах и сотворишь доброе дело величиной хотя бы с пылинку и оно зачтется тебе на суде Аллаха. Торопись же! И не надейся, что Правого Судью можно обмануть!

Сказав это, Азраил исчез так же внезапно, как и появился.

От голоса и слов Азраила у разбойника сотряслись кости и мозг его оцепенел от ужаса. Как! Ему, Хасану, остается жить всего один день! Нет! Он не может умереть! Не нужно ему прощение после смерти! Он хочет только одного - жить! Жить! Жить!

Придя в себя, он накинул на плечи свой богатый халат, схватил саблю и бросился во двор. Его быстроногий скакун всегда был наготове – Хасан вскочил в седло, пришпорил коня так, что кровь потекла у того по бокам, и быстрее ветра понесся в сторону далеких гор, уже освещенных розовым рассветом. От бешеной скачки еще до полудня конь его пал. И еще двух коней их владельцев он зарубил своей саблей) загнал Хасан в своем безостановочном сумасшедшем бегстве. И когда к вечеру уже в диком горном ущелье пал последний скакун, Хасан, бросив саблю, стал карабкаться на немыслимую горную кручу. Он выискивал мельчайшие щели и выступы для ног, хватаясь руками за нависающие над его головой скалы. Его красивые сапоги из сафьяна разорвались в клочья об острые камни, и он в кровь разодрал ступни свои и колени, а руки его остались без кожи. И все же разбойник лез и лез вверх. Тут увидал он узкую щель над выступом скалы рядом с гнездом орла, протиснулся в нее и, сдирая с себя одежду и с ребер своих – мясо, пополз по тесной каменной норе, пока не почувствовал, что проход вдруг расширился, превратившись в пещеру. В полнейшей темноте ощупал Хасан стены и потолок руками: кругом был холодный камень. Продвигаться дальше было некуда. И хотя сердце его бешено стучало о ребра и, казалось, готово было разорваться, а покрывшееся липким потом истерзанное тело нестерпимо болело, покой стал входить в его душу: уж здесь-то никому его не найти! В изнеможении приник он лицом к прохладному камню и перевел наконец дух …

И вдруг у самого своего уха услышал он насмешливый голос:

- А и ловок же ты, Хасан! А я-то, старая, когда велено мне было ожидать тебя здесь, еще сомневалась, успеешь ли ты попасть сюда к сроку …

7декабря 1996 года

#### РАССКАЗЫ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

- Подожди минутку, мне надо позвонить моей Пенелопе, - сказал мой приятель, когда мы проходили мимо телефонной будки. – Сейчас мы ей звякнем, чтобы не томилась понапрасну. Что бы сегодня придумать? Наводнений, землетрясений и моровых язв, кажись, не предвидится. Придется опять воспользоваться собранием или аварией на работе… А может, смеха ради правду-матку ей резануть: так, мол, и так, желаю с друзьями перекинуться в картишки?

В телефонной будке было темно (лампочка, видно, перегорела), и диск с номерами еле-еле мерцал в желтом свете уличного фонаря.

- Черт, ничего не разберу, - ворчал приятель. – Где тут двойка? Ноль, один, два – вот где ей самое место быть…Гудки…Нет, что ль, никого?.. Ага!.. Елену Сергеевну позовите, пожалуйста!.. Какой-то голос незнакомый. Видать, к соседу опять теща в гости приехала. Значит, конец мирной передышке… А Сергеевна уже спать улеглась. Восьми еще нет! А потом будет жаловаться на бессонницу… Ан, встала!.. Шлепает по коридору… Остановилась что-то. Тапок, видать, потеряла… Опять пошла…До чего же медленно перемещается, скажи на милость! Наконец-то!.. Елена Сергеевна?.. Как – кто? Ваш верный раб, примерный Ваш супруг Аркадий… Как – нет мужа у меня? А я тогда кто же? Вы Елена Сергеевна?.. Минутку, минутку! Страшное подозрение начинает закрадываться в мою душу: вы другая Елена Сергеевна! Скажите на милость, какое совпадение! Ваш номер кончается на тридцать пять?.. Так и есть! Здесь тьма кромешная, и я отсчитал ноль в начале, а он – эвон он! – в конце. Все понятно. Ведь надо же, а! И какое сходство с моей Еленой Сергеевной! Я в том смысле, что она тоже страдает бессонницей. Вы ведь, кажется, почивать изволили?.. Рановато, рановато … А-а-а, вы студентка … И как сдали экзамены?.. Ну что ж, кончил дело – гуляй смело! Погода сейчас – прелесть! Этакий волшебный снежок нежно устилает задремавшую землю, сверкая тысячами разноцветных искр на ветвях деревьев, воротниках прохожих и тому подобных вещах … Что?.. Вы угадали. Да, я писатель. (Приятель подмигнул мне). Моя фамилия? Брындин … Не слыхали? Еще услышите! Я молодой, подающий надежды. Меня два раза уже в «Октябре» обругали!.. Послушайте, Елена Сергеевна, мне Вас, право, жалко: спать в такой вечер! Вы ведь живете около кинотеатра «Алмаз»? Выходите подышать этим волшебным воздухом! К тому же Вам, будущему филологу, представляется редкая возможность познакомиться с будущим знаменитым писателем. А кстати (он подмигнул мне еще раз), и с будущим великим художником. Это я говорю про своего друга, мы тут вдвоем… Ну что Вы, что Вы! Какие там персоны, мы – голь перекатная… И это Вы зря … Впрочем, Ваши слова я как-нибудь женен передам; она обо мне другого мнения … А что – моя жена? Во-первых, наше свидание будет самого невинного свойства, во-вторых, мы возьмем да ничего ей и не скажем. Выходите же! Мы Вас будем ждать неподалеку от телефонной будки, что стоит в сквере против магазина. Вы нас сразу узнаете по творческому блеску наших глаз. А также по лохматой шапке моего друга, у которой бросается в глаза оторванное ухо …

- Видишь, старик, наши планы круто изменились, - оживленно заговорил мой приятель, повесив телефонную трубку. – Нам предстоит интересное знакомство со студенткой пединститута, будущим литератором. Не ударим лицом в грязь, дружище! Тряхнем нашим культурным багажом!

Я не разделял энтузиазма, охватившего моего друга.

- Неплохо бы для начала, - ответил я не без ехидства, - тряхнуть как следует принадлежностями твоего гардероба. Тебе мое оторванное ухо в глаза бросается, а на себя поглядел бы: ботинки не чистишь, брюки не глажены, на пальто черт-те что налипло! Не на писателя ты похож, а так, на тунеядца какого-нибудь, склонного к тому же к запою. И какой из тебя, к чертям собачьим, Дон Жуан! Взял бы лучше авоську да крыл в магазин занимать очередь за свиными ушками-копытами на студень к Новому году!.. Или пустые бутылки под кроватями собрал бы. Вот в очереди, где их сдают, тебе самое место среди таких же немолодых, неказистых на вид людей с щетинистыми физиономиями …

- Не сердись, старина, - примирительно сказал мой приятель. – Немолодой, неказистый … Ну какое это может иметь значение для интеллигентной девушки с передовым образом мыслей? Она меня уже по телефону оценила. Я, говорит, вижу: ах, как Вы шибко умны и остроумны! Понимай!

- Ерунда! Я слышал все, что ты ей говорил. Можешь мне поверить: ничего путного сказано не было. Просто девчонка клюнула на твою приманку, и, как только она тебя увидит…

- Я уже давно подозревал, - не дал договорить мне Аркадий, - что ты тайно и злобно мне завидуешь. Так оно и есть! И какого низкого мнения ты о человечестве, о друг мой! Ну пойми: мы же не собираемся затевать с ней пошлый флирт или что-нибудь в этом роде. Просто нам предстоит встряхнуться. Мы заплесневели с тобой около этих болванок, поковок и прочих прозаических вещей. Нам предстоит час-другой пожить интересной, полнокровной жизнью. Это тебе не пиво пить или чего еще хуже! Давай-ка лучше встретим будущего литератора во всеоружии наших литературных познаний. Неплохо бы сразу ее чем-нибудь огорошить. Может, «Евгения Онегина» начать читать наизусть? «Мой дядя самых честных правил…». Строф пять вдвоем, я думаю, выжмем.

И долго мой приятель предавался радужным мечтаньям, и тщетно я старался его как-нибудь урезонить: и Хлестакова поминал, и стращал печальной судьбой всех самозванцев…

Как говаривал Василий Иванович, часа через пол (за это время мы успели продрогнуть и, чтобы совсем не окоченеть, зашли в магазин) через витрину мы увидели девицу, ходившую взад-вперед возле телефонной будки. То была она!

Признаюсь, я не без злорадства наблюдал, как, увидев ее, скис мой приятель. И было от чего. Насчет женской красоты, а тем паче принадлежностей дамского гардероба, я, прямо скажу, - пас! Но и мне было ясно: это была тигра! Все-то у нее было прима-люкс. Одни ее чулки с рисунком наподобие кожи питона чего стоили! И в косметике нельзя было усмотреть никакого ни в чем спуску: волосы бронзовые, рот яркий, и сквозь необыкновенные сверхресницы, как звезды, мерцали подсиненные глаза. Из-за этих длинных, чуть ли не до самых ушей, глаз и высокой прически очень она была похожа на египетскую царицу Нефертити.

- Ну пошли знакомиться! – подтолкнул я Аркашку к выходу.

А тот, видимо, испытывал весь набор чувств новичка в парашютном спорте перед первым прыжком, которому к тому же для начала предстоит обойтись без парашюта. Я все-таки вытолкнул его за дверь и злорадно сказал:

- Действуй

- А ты?.. – тоскливо обернулся он ко мне.

- Я останусь в резерве, вон там, у табачного киоска. Вперед!

Аркашка еще раз с немым укором посмотрел на меня и неверными шагами направился к телефонной будке. Его сутулая спина изображала титаническую борьбу: борьбу человека с желанием быстро куда-нибудь убежать

Елена Сергеевна шествовала ему навстречу. Аркадий замедлил шаг. Но, пока он судорожно сглатывал слюну, она прошла мимо. У телефонной будки Аркадий нерешительно остановился и, превозмогая себя, повернул назад. На этот раз он попытался этак выразительно заглянуть в глаза нашей новой знакомой. Нефертити и наведенной бровью не повела: уж очень сильно, видать, образ молодого писателя, нарисованный ее воображением, отличался от внешнего вида моего друга.

Между тем Аркадий понемногу стал приходить в себя и, когда он повстречался с Еленой Сергеевной в пятый или в шестой раз, то физиономия его имела уже такое наглое выражение, что Нефертити, по инерции пройдя несколько шагов, обернулась и оторопело выдавила:

- Это Вы?

Мой приятель всем своим видом постарался изобразить нечто вроде: да, мол, что же поделаешь, это я. Точь-в-точь, как в конце чаплинского фильма: прозревшая продавщица цветов узнала в оборванце своего благородного покровителя. Но параллель с цветочницей на этом и кончилась. Вслед за ее вопросом и немым ответом Аркадия округлившиеся глаза Нефертити не изобразили сострадания и не подернулись слезой. Она растерянно мерила моего друга взглядом.

- Но Вы ведь писатель?..

Ах, сколько страстной, боязливой надежды было в ее голосе! Я понял, что Аркашка не возьмет греха на душу, продолжая свой обман.

- Увы! – ответил он. – Я простой смертный.

Столь жестоко обманутая в своих лучших ожиданиях, Нефертити сжала красивые губки, глаза ее заметали молнии.

- Не обижайтесь! – пытался успокоить ее Аркашка. – Я ведь не хотел Вам сделать ничего плохого. Просто жалко в такую погоду…

- Свою жену лучше пожалейте! – зло перебила его лепет Елена Сергеевна. – Она, небось, упарилась у плиты. Пропустите меня!

- Минуточку! – не хотел сдаваться Аркадий. – Вот и приятель мой просит, - указал он на меня. – Жора, давай вместе умолять Елену Сергеевну, чтобы она на нас не сердилась.

- Приятель!.. Тоже хорош хлыщ! – метнула Нефертити молнию в мою сторону. – Наверное, такой же художник, как вы - писатель.

- Я работаю в бане, - довольно неучтиво представился я, потому что все это мне порядком начинало надоедать. – Шайки, веники, хол-гор – вот это все по моей части.

- Он шутит, - перебил меня мой приятель.- Жора, как тебе не стыдно! Ну зачем сердиться? Смотрите, какая в самом деле замечательная погода! Давайте просто погуляем, поговорим, как человеки с человеками. А то в кино можно сходить, а потом поделиться умными мыслями. На этой неделе хорошие идут ки́на…

- Ки́на! – передразнила Аркадия Нефертити. – В школе-то вы с вашим другом, надеюсь, учились?

- Как же-с, как же-с, - забормотал Аркашка. – Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива на свой манер. Все смешалось в доме Облонских…

- Ну вот, девятый класс. А как склоняются такие слова, как пальто, метро, кино, не знаете. Ки́на! – повторила она еще раз с невыразимым презрением и вознамерилась было уйти.

- Прошу прощения, синьора! – преградил ей дорогу Аркашка – А как же с остроумием? Вы ведь ажно по телефону почувствовали, как я умен да остроумен.

- Отвяжись ты со своим остроумием! – вышла из себя Нефертити. – А то я сейчас милиционера позову. Хулиганье!

- Пойдем, Аркашка! – потащил я своего приятеля за рукав. – Ведь и взаправду позовет - И надо бы вас сдать куда надо! – мстительно изрекла Нефертити. – Понажрутся с аванса…

- Прощай, о нимфа! – с грустью сказал Аркашка, пропуская разъярившуюся Елену Сергеевну.

И она ушла, гордо ступая своими змеевидными ногами.

- Ну, не говорил ли я тебе…- обратился было я к своему приятелю.

- Ша, старина! – прервал он меня. – И одолжи-ка мне лучше две копейки. Пенелопе надо все-таки позвонить. 1967 год

САМОВАР-ГОЛОВА

Пока вы толковали про своих знаменитых приятелей, я все рылся в памяти, надеясь откопать хоть мало-мальски стоящего мужа, которого не совестно было бы поставить рядом с ними. Но – увы и ах! – на моей жизненной стезе таковых не было. И удивляться этому, конечно, не приходится, если прикинуть расстояние, которое нас отделяет от великих людей. Нет у меня с ними, как говорят, общих точек прикосновения… Впрочем, вру: однажды на футболе в Лужниках сидел я почти рядом с Лапиным. Знаменитый артист в натуре оказался еще толще, нежели мы привыкли его видеть в кино или по телевизору. Он развалился на скамье для зрителей в свободной позе: ноги расставил широко и руками упирался в колени. А мы, его соседи по скамье, в буквальном и переносном смысле этого слова подавленные его величием, теснились бочком и, осчастливленные нежданным подарком судьбы, глядели ему в рот, стараясь не пропустить ни одного его слова. Между прочим, для будущих его биографов: он болельщик «Спартака». Случилось, спартаковцы забили гол, а судья его не засчитал. Лапин с досады хлопнул ладонью по своему мощному колену и, обращаясь к сидевшему ниже нас рядов на пять своему, видать, знакомому, с большой выразительной силой воскликнул:

- Саша! В чем дело?! – аж вся трибуна головы в нашу сторону повернула.

Саша, мужик за сорок, по виду футболист в отставке, объяснил:

- Офсайд был, Иван Михайлович.

В перерыве между таймами Иван Михайлович курлыкал какой-то популярный мотивчик и дрыгал в такт ляжкой. На нас – ноль внимания.

Вот, пожалуй, и все, что касается моих встреч с великими людьми. Это, конечно, немного. Но позвольте мне все-таки рассказать про одного человека, хотя, без всякого сомнения, к лику великих он не принадлежал и в некоторых смыслах даже скорее, пожалуй, наоборот. Охота мне рассказать вам о моем, как говорят, друге детства. Теперь вот, когда приближается в нашей жизни пора подведения итогов, я часто его вспоминаю, и вспоминаю все с большей уверенностью, что был он человеком не обыкновенным. Звали парня Иваном; фамилия нам его ни к чему, да и не помню я ее, потому что в наших ребячьих отношениях, как у древних греков, фамилии не употреблялись. Не то, что теперь, к сожалению…Вот тут товарищ Терехов опять нам лекцию в обед читал про наши успехи, так наш Борисов (он, как обычно, под сильной мухой был) так допек его своими придирками, что бедняга не выдержал, весь побагровел (ну и работа у этих лекторов – не позавидуешь!) и на Борисова – как ястреб: как твое фамилие?!. Насилу уняли…Но возвращаюсь в детство.

Не помните, наверное: на берегу реки, там, где сейчас стоят девятиэтажные комоды, был раньше яблоневый сад. Место это еще по старой памяти звали Вальцевой дачей, хотя уже тогда никто не помнил никакого Вальцева, кто он такой был, и дачами никакими не пахло. Иванов отец был сторожем этого сада. Там, в саду, на этой самой даче они и жили в маленькой хибарке, наподобие тех будок, что стоят на переездах у железных дорог. Ивановы родители держали корову, и коровье жилье стояло рядом, за хибарой, и отличалось оно от хибары только тем, что глиняные стены коровьего жилья не были побелены, а размерами коровье жилье было побольше.

Я мало бывал у Ивана дома, два, ну может быть, три раза: Иван раутов не устраивал. Помню, замка у них на дверях не водилось. Иван доставал из-под доски у входа вместо ключа кусок проволоки, согнутый в виде кочерги, совал его в дырку и отодвигал задвижку. Внутри хибары было темно и душно. Жужжали мухи. Налево всю стену занимала железная кровать, покрытая телогрейкой; прямо напротив двери высилась печь с плитой, а справа стоял ящик, на нем – кусок фанеры, застланный газетой. Это был стол. Под самым потолком еле пропускало свет окно – маленький кусок мутного, засиженного мухами стекла. Стены были оклеены газетной бумагой, а над столом, помню, красовался плакат, изображающий развитие солитера и разоблачавший его вредоносность. В верхней части плаката на фоне синеющего леса безмятежно паслось стадо свиней, или еще какого-то скота, ниже - смачные куски мяса, зараженные личинками, а еще ниже поперек всего плаката вытянулся громаднейший солитер, и отдельно – сильно увеличенная голова солитера с присосками, очень похожая на водолазный шлем.

Я вот сейчас пытаюсь сообразить: где Иван мог спать? Не иначе как стол придвигали вплотную к печке, и это составное ложе было его кроватью. А может быть, впрочем, он спал прямо на полу, голову клал у ящика, а ноги просовывал между печкой и стеной: там оставалась щель в полметра шириной.

Жил он в этом обиталище с отцом и мачехой. Отец его, как я говорил, сторожил сад. Уже в силу одного этого обстоятельства он не мог нам внушать теплых по отношению к себе чувств. Да еще сверх того и вид у него был какой-то жутковатый. Высокого роста, сутулый, с большой всклокоченной бородой, он угрюмо, исподлобья взирал на белый свет своими красными, словно воспаленными, глазами… Смотрели кинофильм «Таинственный остров»? Вот одичавший пират Айртон – точная копия Иванова отца.

Мачеха Ивана тоже не производила отрадного впечатления. В платке, повязанном до самых бровей, в черной плисовой кофте и в юбке до пят, сильно припадая на укороченную ногу, ковыляла она от одной помойки до другой. Бамбуковой лыжной палкой без кольца она подолгу ворошила содержимое помойных ящиков и собирала в дерюжный мешок съедобные куски для своей коровы. На боку у нее висела еще сумка из-под противогаза, и некоторые из кусков она, обнюхав и смахнув с них мусор, убирала в нее. Никаких шуток, песен или хотя бы частушек во время этого занятия с ее стороны замечено не было.

В общем, с родителями Ивану явно не повезло.

В то время, то есть в 38-ом году, помнится, я учился в классе третьем, а Иван был старше меня года на два и, значит, было ему лет двенадцать. Лицо у него было этакое деревенское: щеки красные, мясистые, словно он их нарочно раздувал. А глаза, как у отца, голубые навыкате, только без красных прожилок.

Ходил он в серой, вылинявшей рубашке, ни одной пуговицы на ней усмотреть было нельзя. Он ее никогда не заправлял в штаны, и она при ходьбе, подобно парусу, раздувалась на его спине. Штаны были такого же неопределенного цвета и подпоясывались веревкой. Из головных уборов Иванова гардероба я видел только один: старую, наверное еще времен гражданской войны, буденовку с просаленной подкладкой. Он носил ее и зимой и летом. Летом – когда бывало холодно, а то все бегал без шапки, и его большая продолговатая голова с торчащими волосами казалась неправдоподобно громадной. Наша домработница Манефа Федоровна (Манеша, как мы ее звали), увидев моего друга в первый раз, сказала:

- Ну и голова у твоего приятеля – прямо самовар!

С тех пор и стали все звать Ивана Самовар-головой. Он не обижался. И обижаться-то, по правде сказать, тут было не на что: всех нас украшали прозвища, и часто много обиднее.

Многими добродетелями наградила природа Самовар-голову! Он бесстрашнее всех лазил по деревьям, быстрее всех бегал и плавал. А под водой он мог пробыть так долго, что, бывало, гадать начнешь: а не собирается ли он там остаться навсегда? Наконец голова его с вытаращенными глазами появлялась на громаднейшем расстоянии от места погружения. А то еще возьмет тяжелый камень, прижмет его обеими руками к своему большому животу и перейдет всю речку по дну от берега до берега…И в футболе ему было мало равных. Обуви летом Иван никакой не носил и играл по этой причине всегда босиком, но удар его отличался силой необыкновенной. А ведь мяч у нас был, как кирпич, надут плохо, да к тому же часто мокрый, потому что гоняли мы его, невзирая ни на какую погоду. В ботинках, бывало, играешь, и то – ковырнешь по нему и захромаешь.

- Надо бить, - поучал он нас, - тычком: большой палец оттопырил – во! - и пыряй.

Между прочим: те, кто думают, что надуть ртом футбольный мяч – легкое дело, сильно ошибаются. Для этого все участники предстоящего матча становились в кружок и по очереди, начиная с самых немощных, в буквальном смысле слова слабых духом, припадали к соску футбольной камеры. Но как бы ни пыжились, как бы ни подбадривали и ни понукали мы друг друга, мяч оставался вялым и импотеничным, как недавно написал о моем желудке рентгенолог. И как с моим желудком есть шашлык, так и играть таким мячом – удовольствие так себе, лучше уж не пробовать. И тут наши взоры, как на последнюю надежду, обращались к Самовар-голове. И, скромно ожидавший в сторонке своего часа, Самовар-голова внимал нашей мольбе: он брал наш импотеничный мяч и первым делом с презрением выпускал из него в конвульсиях накачанный нами воздух и брезгливо вытирал заслюнявленный сосок. Затем, отрешаясь от всего земного, он замирал, как штангист над рекордным весом, и, наконец, мертвой хваткой впивался в сосок. Скоро лицо его становилось багровым от натуги, щеки, все больше раздуваясь, обгоняли размерами мяч, а глаза, устремленные сквозь нас куда-то в вечность, казалось, были готовы выскочить из орбит. Покрытая в многодневных футбольных баталиях грязью, заскорузлая покрышка медленно, но верно начинала наливаться жизненными соками, и вот мы уже с восторгом тычем пальцами в ставший упругим, словно помолодевший, мяч. А Самовар-голова стоит себе опять в стороне, поглаживая себя за ушами – для того, чтобы, как он говорит, согнать оставшийся там воздух.

С сожалением должен сказать, что доблесть Ивана, проявляемая им при надутии мяча, была вскоре подкошена одним из самых немощных наших надувателей, который, когда подходила его очередь дуть, не только не добавлял мячу упругости, а ухитрялся еще спустить часть воздуха, накачанного его предшественниками. Этот хиляк принес как-то из дому клизму и накачал ею мяч так, что тот зазвенел и при отскоке, казалось, стремился улететь в небо. Вот вам еще один наглядный пример моральных издержек технического прогресса. Помните, как сетовал на новые времена Дон Кихот? Пока ты, говорил он, своим доблестным мечом храбро поражаешь врагов, какой-нибудь ничтожный трус, прячась за углом, может нанести тебе предательский удар в спину, нажав на жалкий крючок из железа, - и вся твоя доблесть не спасет тебя… Впрочем, случай этот, мне кажется, дает утешительную возможность трактовать результаты технического прогресса и в другом, более оптимистическом, плане: физически немощный малец, поскольку он нашел столь гениальное применение медицинскому инструменту, пользовавшемуся до него довольно низменной репутацией, тем самым продемонстрировал торжество человеческого духа над грубой материей…

Но возвращаюсь к Самовар-голове: в частности, чтобы покончить с его ногами. Они, по-моему, были вообще лишены чувствительности. Однажды летом мы бегали по стройке среди досок и бревен. С нами еще один мальчишка был, Коровой звали. Не нравился он мне, по правде говоря: жирный такой, идет – и ляжки при ходьбе трясутся. А Коровой его прозвали за то, что все время он что-нибудь жевал и при этом чавкал и двигал челюстями из стороны в сторону, в самом деле, очень похоже, как жуют жвачку коровы. А главное, на морде у него выражение возникало при этом коровье, этакое сосредоточенно-бессмысленное…Так вот, бегали мы, бегали, и вдруг Иван сел на бревно и кричит мне:

- Не видишь? Выдерни!

К его пятке, гляжу, прилипла небольшая чурка. Я потянул за нее – чурка не поддавалась.

- А ну, годы, дайкось я опробую, - отодвинул меня Корова (между прочим, он откуда-то с Украины к нам пожаловал).

Он ухватился за чурку обеими руками и изо всех сил дернул ее на себя. Громадный гвоздь вылез из пятки Самовар-головы. Иван сорвал подорожник, поплевал на него и залепил рану. Вечером, правда прихрамывая, он уже играл в футбол.

Я бы мог еще долго перечислять добродетели моего друга, но не хочу вас утомлять. К тому же я понимаю, что все эти мелочи не могут казаться такими уж значительными. Я только что́ хотел сказать: вот обладая всеми перечисленными мною и еще целой кучей других достоинств (а они имеют страшную цену в мальчишеских глазах), всякий другой на месте Самовар-головы обязательно закабалил бы нас всех, как негров, стал бы всеми помыкать и командовать. Иван же всегда устранялся, когда надо было, как принято говорить, руководить, И не подумайте, что у него не хватало на это ума ( да и какой тут нужен ум!): если бы вы знали, какие дьявольские приспособления и хитрости измышлял он на страх врагам во время наших перманентных войн! Зато, когда кипело сражение, он лез в самую гущу драки, так что ему и его лихой буденовке доставалось больше всех.

Мы быстро прониклись с ним взаимной симпатией. И настолько, что на равных паях нами был основан торговый дом…

- Манеш, а куда это конфеты девались? Ведь вчера только покупали, - спросит мать, бывало.

- Куда ж им деваться, небось, Колька Самовар-голове скормил, - проворчит бдительный страж хозяйского добра.

Я подвергаюсь допросу.

Нет, по чистой совести, нельзя все-таки сказать, что я скармливал их Самовар-голове, судьба их была несколько иной. Но, поскольку взрослые туго во всем разбираются, приходилось молчать.

- И что за товарищи у тебя! – с укоризной говорит мать. – Хоть бы этот Самовар-голова: еще гадости какой от него наберешься. Вот Отик Грызлов – какой хороший мальчик! И чего ты с ним не дружишь?

Благодарю покорно! Этот Отик (то есть, значит, Октябрь) - общее посмешище. Посудите сами: ходит вечно в чёрных начи­щенных полуботинках и в белых с голубой каёмочкой носочках; в кино появляется не иначе, как держась за руку папы или ма­мы, либо сразу обоих, в футбол играть не умеет! Ни при какой погоде дружба с этим типом меня не прельщала, а особливо те­перь, когда вовсю полыхала война с Новым посёлком.

Что же касается конфет, то тут дело обстояло так. Уже неделю или две во дворе нашего дома, именно в самом дальнем углу двора, в собачьей конуре мы открыли мага­зин по продаже кондитерских изделий, а также сильно незрелых яблок. Снаружи, на передней стенке конуры вывешивался ценник, а внутри располагались мы с Иваном и наш товар. Что конфеты, что кислые яблоки - стоили, согласно нашему прейскуранту, одинаково, и поэтому равенство в основных капи­талах было полное. Помню нашу светлую радость по поводу того, как нам легко удалось напасть на самый короткий и верный способ разбогатеть.

Мне первому всегда надоедало ожидание не ведающих своей пользы покупателей. Энтузиазм испарялся, и я предлагал своему компаньону самим съесть все конфеты, а заодно и кислые яблоки. Мне тогда и невдомек было, какой героической выдержкой должен был обладать Иван, когда отговаривал меня от этого решительного шага: ведь он, я думаю, не то что конфет, а и хлеба белого никогда дома не видел.

-Еще, может, придет кто-нибудь, - бодрился мой компаньон.

Но надежды, что клиенты наши ещё могут одуматься, гасли, и тогда все товары нашего магазина уничтожались здесь же на месте, в собачьей конуре, честно поделенные на две рав­ные части. Не тащить же их было обратно.

Это совместное директорство сильно укрепило нашу дружбу.

А зимой произошёл такой случай, что если бы не Самовар-голова, то не томил бы я вас сейчас своим рассказом. Однажды переходили мы втроём: я, Самовар-голова и Корова (и чего он всегда около нас тёрся!) по льду речку. Рядом был мост, но пользоваться мостом было, конечно, просто смешно. В нашей реке, вы знаете, течение довольно быстрое, и зимой на середине лёд не очень прочный. Шли мы, шли и, как сейчас помню, делились соображениями по поводу случившегося недавно на этом месте происшествия. О нём тогда все (и не одни дети, а и в особенности взрослые) только и говорили.

В один распрекрасный день шёл некий дядя со своей женой, как говорят, из больницы. И вдруг на самой середине моста сигает этот дядя через перила в речку. Жена, понятное дело, принялась метаться по мосту, кричать и звать на помощь. Но помочь было некому, и её супруг утоп.

Целую неделю мы часами наблюдали, как в чёрной воде сре­ди расколотого льда то появлялись, то исчезали шлемы водола­зов, змеились по снегу шланги; люди без устали качали помпы, и мы им иногда помогали. Но всё было напрасно: утопленника не находили. Сначала все говорили, что утонувший был немного то­го, не в себе, но вскоре пронёсся слух…И не слух даже, а просто все как-то разом догадались, что же произошло на самом деле, и догадка эта потрясла всех своей очевидностью. В самом деле, что может быть яснее: никто не бросался с моста и никто не тонул! А дядька этот (он работал инженером на нашем авиа­ционном заводе) - вредитель и под видом утопленника пытается скрыться от заслуженной кары. Вот прямо так и сто­ит перед глазами картина: выходят они с женой на мост, огляды­ваются - нет никого; жена для виду скидывает с моста камень, мечется, кричит, а её муженёк в это время на по­езд - и дёру.

- Отец вчера с работы пришёл, рассказывал, - повествовал Корова, - в том цеху, где этот гад работал, вредительство было. Начальника цеха, двух мастеров посадили и его должны бы­ли арестовать. Директор сказал: реку осушу, а докажу, что там его нет. А что? Правильно: шлюзы перекрыть и порядок. Гово­рят, бабу его уже посадили...

Между прочим, не знаю, что с его бабой дальше было, а сам утопленник весной всплыл...

Не успели мы как следует подивиться коварству врагов народа, как вдруг лед под ногами у нас расступился, и мы, все трое, оказались в воде. Помню, это было так неожиданно, что я не успел даже испугаться и подгребал под себя руками воду и болтал ногами, словно я купаюсь в лет­нюю жару. Оглядываюсь - вижу: сзади старается ухватиться за лёд Самовар-голова; впереди, ближе ко мне, уже лежит животом на льду Корова, только ноги его болтаются в воде. Я пытаюсь поймать его за валенок, он начинает брыкаться. Помню, я тогда ничуть не удивился и не возмутился таким поведением Коровы. Вероятно, и я вёл бы себя в его положении не лучше. Когда смертельная опасность приближается к тебе медленно и ты её заранее ждёшь, ещё можно действовать разумно, логично, что ли. Но когда жизнь внезапно повисает на волоске (со мной это слу­чалось и позже), я знаю, рассудок в таких случаях как бы сов­сем выключается и человек ведёт себя самым диким образом. Ко­рова в данном случае просто подпал под общий мировой закон. Но какое всё-таки счастье, что нет правил без исключений и что в этом случае Иван оказался именно таким исключением из выше мной сформулированного и мирового закона. Слышу, он мне кри­чит:

- Сюда плыви!

Одной рукой он держится за лед, а другой протягивает мне будёновку. Хватаюсь за неё. Самовар-голова подтягивает меня к себе, и я цепляюсь за лёд рядом с ним. Хочу вылезти - и не могу: ноги уносит под лёд.

- Подожди! Я сейчас помогу!

Иван уже лежит на льду, у самой воды. Он хватает меня за воротник и, перевернувшись, вытягивает до пояса на лёд. Хоть и чувствую - спасён, а всё нутро трясётся. Вален­ки - полные воды, чуть не по пуду каждый.

Но вот, все мы выбрались. Наши шубы сразу смерзаются, и мы чувствуем себя в них черепахами: ничего не гнётся, всё гремит и звенит. Тут я замечаю, что Иван без шапки: он поднял свой б у ш л а к (так он называет своё зимнее пальто), стараясь укрыть им мокрую голову.

- А где же шапка? - спрашиваю.

- Утонула, когда за тобой наклонялся. Теперь дома влетит, - отвечает он без особого восторга. - Пойдёмте в какой-нибудь подъезд, обсушимся у батареи.

Мы бежим, гремя одеждой, к ближайшему большому дому; в подъезде под лестницей снимаем с себя свои ледяные доспехи и вешаем их на батареи. Самовар-голова убивается всё по своей будёновке.

- Да я тебе дам шапку! У меня есть старая, - великодушно обещаю я ему.

- Да, а как же я сегодня-то домой без шапки приду? - уны­ло отвечает он. - Отец обязательно драться будет.-

- Да чего же драться-то? - изумляюсь я. - Ты ведь неча­янно её утопил. Могли бы ведь и сами утонуть.

- Ему докажешь!.. Да ещё он, наверное, пьяный будет. С пьяным, с ним лучше не связываться. Вчера у него получка была, еле до дому дополз. А сегодня утром просыпается, спрашивает: «Ваньк, у тебя курить есть?» А у меня, правда, полпачки махорки было припрятано. «А бить, - говорю, - будешь?» «Нет, - говорит, - не бойсь, не трону». Слазил я, достал ему махру. Взял он, закру­тил папиросу, прикурил из печки, затянулся раз-другой, смот­рел-смотрел на меня, а потом ка-а-ак шарахнет мне по морде! Я аж дверь головой вышиб. Из носу сопли красные сразу потекли. Во, пощупай! Шишка!..

Я щупаю его голову: действительно, шишка, и порядочная.

- Это я головой об порог трахнулся, - благодушно и даже с оттенком непонятной мне гордости добавляет Самовар-голова.

Скоро приходит дворник и изгоняет нас на улицу. Мы с Коровой отправляемся домой, а Иван перебирается в другой подъезд.

Ему повезло: в десятом часу, когда он пришёл в свою сто­рожку, отец уже храпел, керосиновая лампа не горела, и мачеха ничего не заметила. А на другой день, я выпросил дома для него старую отцову шапку: моя ему на голову, конечно, не на­лезла бы.

Картина *моего* возвращения домой была, как вы пони­маете, несколько иной. Появление моё в обледенелой шубе вызва­ло в доме страшный переполох. В мгновение ока я с головы до пяток был чем-то растёрт, напоен чаем с малиновым вареньем и, обливаясь потом, лежал под грудой одеял. Тем временем откоман­дированная в аптеку Манеша беглым шагом поспешала туда с длин­ным списком лекарств. Впрочем, никто из нас не заболел...

Кто-то из дремучих классиков заметил, что в жизни народов, как и в жизни отдельных людей, тоже бывают детство, юность, зрелость и старость. Это безусловно верное замеча­ние я бы только уточнил: цикл этот имеет склонность повторять­ся, ибо за старостью - увы! - следует смерть. И подобно то­му, как сменяются поколения смертных, так в жизни народов следуют одна за другой эпохи, будь они неладны!.. С удоволь­ствием замечаю, что это моё мнение целиком и полностью совпа­дает с величайшим завоеванием философской мысли, трактующим всё развитие человечества в виде витков спирали.

Прикидывая теперь эту схему к нашей новейшей истории, я вижу, что наше детство совпало с детством нашей замечательной эпохи. Правда, не с ранним, так сказать, голубым, его периодом, а с тем, когда у малютки начинают проявляться бандитские наклонности, что, впрочем, в точности совпадает с наблюдениями и над людьми психологов и педагогов: им хорошо известно, что парни-второгодники с пробивающимися усами и ло­мающимся голосом по уму ещё долго соперничают с младенцами. Всё это, опять же, хорошо сходится с народной мудростью, выразившейся в поговорке: сам вырос, а ума не вынес.

Теперь, обезопасив свои тылы этими солидными теоретическими положениями, я могу перейти к истине общеизвестной: какое бы детство ни было у человека (или у общест­ва), в воспоминаниях оно всегда представляется если и не прекрасным, то уж, во всяком случае, интересным. И у людей есть склонность, когда жизнь их, погромыхивая, как пустая бочка, начинает катиться под уклон, черпать в этих воспоминаниях уверенность, что жизнь эта была прожита не совсем бездарно, ибо была духовна. То есть, мы же верили! И потому от всей души кричали «ура» и ликовали. Или наоборот: когда было надо, пылали гневом. Главное тут было – не перепутать, когда кричать «ура», когда – «караул».

Я вот замечаю, что сейчас в ребятах тогдашнего нашего возраста нет энтузиазма, что ли, или, я бы даже сказал, эдакой дикарской наивности в отношении к разным вещам. Взять футбол, например. Сколько всяких легенд тогда ходило! И в каком, мож­но сказать, былинном стиле обо всём повествовалось! Извест­но, например, что были игроки с красной повязкой на ноге. У кого – на левой, у кого - на правой, знак того, что ее обладатель не может этой ногой бить по мячу: удар смертелен. Один вратарь... прошу прощенья! - кипер! Один кипер взял смертельный удар, так мяч пробил ему грудную клетку и застрял внутри, так что его вытащить не могли. Героя так, с мячом в груди, и похоронили. При громадном стечении народа, конечно. О переломанных мячом штангах и говорить нечего.

Я уже в теперешние времена встречал людей, дяденек с бородами, которые все это и сейчас принимают за чистую монету, а что уж говорить про нас, про тогдашних мальчишек. На­ша вера была безгранична. А если кто-нибудь пытался посеять среди нас сомнение (такие типы всегда откуда-то берутся), то обязательно находился очевидец, который своими глазами в упор всё видел, и скептик неизменно бывал посрамлён.

Или кино взять. Ведь, право слово, можно сказать, что мы жили от картины до картины. Кинотеатров в те славные вре­мена в городе не было, а был клуб. И представлял он собой огороженный забором громадный сарай с земляным полом и вры­тыми в него скамьями без спинок. Во время дневных, детских, сеансов из щелей и из дырок от сучков, словно лучи прожекторов, тянулись через весь зал солнечные зайцы.

В ожидании, когда в сарай начнут запускать, мы, ребятишки, соз­давали громаднейшую давку у входа. Стоишь, бывало, прижатый к входной двери - ни повернуться, ни вздохнуть; страшные му­ки и, в то же время, восторг: первым ворвусь! Во время войны, когда за хлебом очередь занимали, перед открыти­ем магазина сходная ситуация получалась).

А какие ки́на тогда показывали, какие ки́на! Чего уж там «Чапаев» или «Мы из Кронштадта», множество других фильмов у нас вызывало не меньший восторг, особливо ежели про войну, или, говоря по-теперешнему, на военно-патриотическую тему. Мне кажется, этот жанр тогда и *зачинался*, как выра­жаются литераторы. Помните: «В тылу у врага», «Если завтра война»? Интересно бы теперь эти шедевры ещё раз посмотреть. Вот помню такой, например, кадр (это, кажись, из «Если завтра войны»): один наш врывается в самую гущу врагов - и давай молотить на счёт «раз-два», налево - штыком, напра­во – прикладом! Налево - штыком, направо - прикладом! Всю вражескую дивизию перемолол. Мы визжали от восторга, потому что - торжественно заявляю! - патриотический дух тогда был высок, не то что сейчас. И уж очень всем не терпелось побыстрей разгромить врага на его же собственной территории, и с самой малой для нас кровью...

Ну я, впрочем, заболтался. Вы меня останавливайте, ко­ли что...

Так вот, был у нас клуб. Я-то ходил в него по билету, а у Самовар-головы денег, конечно, никаких не водилось, и он каждый раз, чтобы посмотреть кино, должен был пускать в ход всю свою ловкость. Таких ребят, как Самовар-голова, порядочно набира­лось. И какими только путями не проникали они в клуб! То подкоп под забор подведут, а то в задней стене сарая (там за­бора не было) доски оторвут и подлезут под сцену. И только, бывало, кино начинается, они из суфлёрской будки, как приведения, так и шмыгают, прямо мимо экрана.

Но проникнуть в зал для Ивана было только половиной победы; ему надо было, пока не потушат свет, обязательно ос­таваться незамеченным, потому что он был как бы вне закона. Стоило только блюстителям клубного порядка установить его личность, как на него устраивалась облава. Чаще ловкость вы­ручала его. Но иногда прочёсывание начинали вести с разных концов, и, схваченный за шиворот, он выкидывался из дверей, прямо под ноги чинно входившей по билетам публики, которая по этому поводу, конечно, веселилась.

И самым беспощадным и страшным врагом всех безбилетников был контролёр-вышибала Васька, по прозвищу Колун, сам в неда­лёком прошлом бывший безбилетником. И презанятный же, скажу я вам, тип был этот Васька! Его исключили из школы из седьмого класса за историю из тех, о которых взрослые говорят горячим шепотом, косясь на детишек, хотя детишкам обычно бывает известно больше подробностей, чем взрослым. Вобщем, грязная была история, связанная с одной девочкой. Та (после менин­гита, что ли) глупой совсем была. Исключили Ваську и ещё трёх или четырёх таких же оболтусов. Незаметно было, чтобы Колуна это наказание сразило. Устроившись в клуб контролёром и получив власть над нами, «примерными мальчиками», он должен был чувствовать себя победителем. К своим обязанностям Васька относился с похвальным рвением. До самого начала сеанса он рыскал вдоль рядов, как хищ­ник, выслеживающий добычу: следил за порядком. Главное нару­шение порядка было - если кто сидел в шапке. Сам Васька и небольшое число его любимцев шапки никогда не снимали, видимо считая это какой-то привилегией: сидеть с обнаженной головой было уделом простых смертных. И вот, узрев на ком-нибудь какую-нибудь чеплашку, он стремительно на него кидался, и, если простой смертный не успевал вовремя заметить нападения, то его шапка под общий хохот летела через весь зал, сорванная с головы бедняги и брошенная свирепой рукой Колуна. И, помню, мне всегда как-то страшновато было видеть на Васькином лице дикую, несоразмерную, можно ска­зать, с вызвавшей её причиной, злобу. В этом случае как нельзя лучше, по-моему, подошло бы выражение, появившееся в пе­чати, кажется, несколько позже – «зоологическая злоба».

Однажды мне пришлось испытать её на себе. Купались мы на реке, ныряли с причала для лодок. К берегу от причала шёл узкий трап. Все дурачились, толкали друг друга в воду, Я не купался, потому что не умел ещё плавать, но баловался вместе со всеми. И, балуясь, возьми и столкни Ваську с причала. Все захохотали: очень уж нелепо он плюхнулся в воду. Я смеялся больше всех. Вдруг вяжу: бежит Колун no трапу, морда вся аж перекосилась от ярости. Хватает он меня в охап­ку и, несмотря на моё отчаянное сопротивление, швыряет в бездну вод. Хорошо, ребята были поблизости, и я недолго пускал пузыри.

Я подозреваю, что это был человек с уязвлённым самолю­бием. Над ним часто смеялись; поводов было много: уж очень он был неуклюж. При ходьбе ноги у него как бы не поспевали за туловищем, отчего он, когда шёл, раскачивался взад-вперёд, точно ехал на хромом верблюде. А так как затылок его был на одной прямой с шеей и лицо сильно выдавалось вперёд, то всё это и на самом деле делало его разительно похожим на инструмент, в честь которого он получил свою кличку: и правда, ни дать-ни взять, колун раскачивается, словно примерива­ется для удара.

Я так много говорю о Ваське потому, что в судьбе Ивано­вой семьи он сыграл, как говорят, роковую роль. Да и любопыт­ная всё-таки личность, многого я в нём до сих пор не могу по­нять. Вот к примеру: почему-то он, взрослый уже почти человек, всё своё свободное время проводил с нами, с ребятами. Его де­ятельность в нашей среде была, по преимуществу просветитель­ской: насчёт многих тайн природы он нас просветил. И, надо отдать ему справедливость, делал он это живо и в наглядной и доходчивой форме, агитаторам впору поучиться.

-Ты, Серёжка, спроси свою сестру, - начнёт он, бывало, а сам заранее этак захихикает, вроде как костью подавился. - Спроси, Серёжка, свою сестру - ы-ы-ы-ы! - что она вчера в парке с Колькой Никифоровым делала.

И начнёт смаковать подробности, по большей части, надо по­лагать, им же самим выдуманные.

Бедный Серёжка краснеет, потеет. Нам его страшно жалко, но по­лагается надо всем этим смеяться - и мы смеёмся. Смеёмся и над Серёжкой, и над его сестрой. Громче всех хохочет сам Васька, широко разевая свою зубастую пасть и брызгая слюной. Между прочим, зубы у него были, мне кажется, одни клыки, и росли они у него как-то чудно, в два ряда.

Ивана Колун почему-то особенно невзлюбил и преследовал его без устали. Как сейчас вижу такую картину: по проходу, поднимая пыль, мчится Самовар-голова в своей развевающейся рубахе, а за ним, ощерив двойной комплект зубов, прыжками ус­тремляется Колун. Вдруг Иван исчезает из-под самого Васькиного носа где-то в ногах у зрителей, и, пока тот, словно потеряв­шая след овчарка, мотается по рядам, выныривает совсем в другом конце зала.

Но вот, волею судеб (а вернее сказать, волею Иванова от­ца) отношения Ивана с клубной администрацией круто измени­лись. Отец устроил его в клуб на работу: за семьдесят пять рублей в месяц (цена двенадцати бутылок водки) Самовар-голова должен был расклеивать по городу афиши. Разумеется, я стал его правой рукой. Вернее, левой, потому что я держал свёртки афиш, пока Иван мазал клеем заборы и стены бараков.

Рано утром мы приходили в клуб к художнику; тот жил в маленькой каморке за кулисами. Жилище его было завалено готовыми и еще недописанными лозунгами, а из темных углов с хранившихся там портретов тебя так и пронизывали строгие взгляды вождей. Мы забирали афиши, написанные вычурными буквами красной и синей краской на обратной стороне обоев, брали ведро с клеем и гордо шествовали через весь город, сопровождае­мые почтительными взглядами ребятишек.

Иван стал в клубе своим человеком. Он проходил теперь через входную дверь и его пропускали, даже не спрашивая. Ино­гда он брал и меня.

-А ты куда?! - хватал меня за шиворот служитель.

- Он со мной, - небрежно бросал Иван через плечо, и ме­ня пропускали.

Благодаря Ивану я вкусил соблазнительную прелесть быть исключением из правил. Бывало, в кино ещё не запускают, а мы стоим за дверями и как СВОИ разговариваем с Васькой. А из-за дверей несутся истошные вопли задавленных простых смертных. Да ещё Колун, бывало, созорничает:

- Давайте, - скажет, - сегодня в боковые двери пускать будем.

Это значит, что давятся простые смертные напрасно: пу­скать будут в другие двери. И нам-то вот уже известно это, а они там, слепые щенки, всё вопят и толкаются. И мы хихика­ем, чтобы угодить Ваське. Наконец, начинают ЗАПУСКАТЬ а мы с Иваном уже заняли свои места в нашей «царской ложе», перед самой сценой, в углублении за невысо­ким барьером. Правда, экран висит у нас над самой головой, и после сеанса бывает больно поворачивать шею. Обыкновенные смертные мечут в нашу сторону завистливые взгляды, а мы, полные сознания своего превосходства, рассеянно разглядываем их.

Больше в своей жизни я не занимал такого положения.

В день получки родители дали Ивану пятёрку, и он устро­ил нам, трем-четырем самым близким его друзьям, пир. Купил он на эти деньги кильки и буханку черного хлеба.

И вот мы шествуем со всем этим богатством из магазина в наш боевой штаб, собачью конуру. На этот раз Самовар-голова с видом именинника шагает во главе процессии, а мы составля­ем его свиту. Корова, видимо не выдержав наплыва радостных чувств, вдруг принимается громко петь:

- Ах, колысь мы наемося

Хлиба чёрного с камсой?!

Мы славно устраиваемся в конуре, а Самовар-голова (он всегда с большой серьёзностью относился к любому делу) ста­рательно делит свою *хамсу*, положив каждому его долю на клочок газетной бумаги. Он долго, чтобы уравнять, перекладывает по одной рыбёшке из одной кучки в другую, так что кончики пальцев на его никогда не блис­тавшей чистотой коричневой руке становятся розовыми. Мне та­кая мелочность тогда показалась излишней, только во время войны я понял её глубокий смысл.

Килька была слопана с небывалым аппетитом.

В конце лета мне (не помню и не могу сейчас даже представить, какими доводами) удалось Ивану доказать, что ученье - свет, а неученье - тьма, и что ему никак без науки не прожить.

Мои родители, хоть они и скептически отнеслись к моей идее - дать русской земле нового Ломоносова - всё же достали учебники, а родитель (он ведь директором школы был) зачис­лил Ивана, кажется, во второй класс, и пришёл Иван в школу.

Я увидел его во время большой перемены: он стоял в кори­доре, прислонившись спиной к отопительной батарее и сразу показался мне каким-то чудным, словно с ним произошла некая метаморфоза. Одет он был в невиданную до сих пор мной синюю с белой полоской рубашку и подпоясан ремнём. И пуговицы на рубашке были большие и все разные. Видно, по такому важному случаю отец накануне остриг его ножницами, и по его белой незагорелой голове во все стороны разбегались «лесенки». Я стал его звать побегать, но он упорно держался за батарею, стараясь спрятать дырки на своих башма­ках, надетых на босу ногу. Самовар-голова никогда до этих пор не вызывал во мне других чувств, кроме зависти и уважения. По­тому и было так непривычно и дико видеть на его лице жалкое выражение страха и растерянности. Я и сам, глядя на него, растерялся и не знал, что бы ему такое сказать ободряющее, и в душе моей шевельнулось сомнение: прав ли я был, затащив его сюда.

Недолго продолжалось учение Самовар-головы, и кончилось оно для Ивана, можно сказать, драматически. Вот что случилось, как я потом узнал частью от него самого, частью от ребят из его класса.

У одной девчонки (я ее знал, Лилька Левантович, порядочная воображала) пропал завтрак с мандаринами. (Мандарины, замечу в скобках, тогда были – сила, из Испании; никогда после таких не ел.) Иван говорил (и это похоже на правду), что их сожрал Корова; они учились в одном классе. Он еще добавил, что и вообще мандарины в рот никогда не брал. И я ему верю: как-то я угостил его этим заморским плодом, и он стал кусать его, как яблоко, прямо с кожурой.

Так вот, кто-то сказал, что некому их было стащить, кроме Ивана. Лилька его обозвала жуликом, и он побежал за ней чтобы вразумить.

- Я её даже не тронул, - рассказывал он мне потом. – Она, когда бежала, споткнулась и полетела прямо на батарею. Встала ругаться начала. А тут другая девчонка как заорёт: «Ой, Лилечка, у тебя кровь на лбу!» Она, как услышала про кровь, сразу упала, вроде без сознания. Откуда ни возьмись, старшая пионервожатая прибежала. Схватила она Лильку и понесла на ру­ках в учительскую. А у той, как у мёртвой, и руки и ноги болтаются. А и ударилась-то она чуть-чуть, потому что сначала на колени шмякнулась, а уже потом ткнулась лбом в батареюи, действительно, Лилька уже на другой день пришла в школу как ни в чём не бывало.

Поднялся страшный переполох, на Ивана все смотрели как чуть ли не на убийцу. Учительница послала за отцом. Тот, по несчастью, оказался дома и скоро пришёл. Не знаю, о чём с ним говорил мой родитель у себя в кабинете. Я ждал, когда они выдут. И вот они появились: сначала Иван со своим сшитым из мешка ранцем под мышкой, за ним из дверей вышел его отец. Я слышал, как он бормотал:

- Нечего было брать. Сами взяли - никто не просил.

А потом он обругал Ивана по-матерному и толкнул его в шею.

Иван плёлся впереди, не смея ускорить шаг, а отец, дого­няя, каждый раз толкал его в шею и злобно бормотал:

-Учёный, туда-т-растуда-т!

И видно было, что Иванова отца начинает забирать спор­тивный азарт: почему это Иван никак не хочет падать от его толчков, а держится, мерзавец, на ногах? Толчки становились всё сильнее и сильнее, и наконец, после одного из них Иван потерял равновесие и шмякнулся оземь. Его мешок лопнул, покатились карандаши, высыпались учебники. Он торопливо стал всё это запихивать назад. Отец же, поравнявшись с ним, уда­рил его ногой по заду, и он ткнулся опять в землю.

Вечером за чаем мать мне сказала:

-Видишь, что за тип твой Самовар-голова? Чтобы я боль­ше тебя с ним не видела!

А вскоре, этой же осенью и Иван, и его отец, и его мачеха, и их хибара, и корова совсем исчезли, словно и не было их вовсе.

Самовар-голова мне раньше ещё рассказывал, что Васька Колун стал часто у них бывать. Как предполагает Иван, Колун продавал яблоки из сада, а выручку они делили с Ивановым от­цом. И вот однажды, видно, в расчётах у них путаница произо­шла, только Колун с неделю ходил с подбитым глазом и всем, кто его спрашивал про глаз, ругал сторожа и, злобно сплёвы­вая, бормотал:

- Ладно, я ему сделаю! Он меня всю жизнь будет помнить.

И видно было, что на всё человек способен. Я по простоте душевной подумал: уж не собирается ли Васька Иванова отца прихлопнуть?

Оказалось, совсем не то. Не такой он дурак был этот Ко­лун. Не прошло и недели, подходит, совсем как в воду опущен­ный ко мне Иван и говорит:

- Вчера вечером отца посадили.

- Как?! За что?

- Не знаю, - говорит. - Вчера, мы уже спать легли, при­шли трое военных, стали обыск делать. Телогрейки все перевер­нули, сено у коровы ворошили...

- Чего же они искали?

- Не знаю. Взяли только мою книгу для чтения. Это ту, что ты мне дал. Там Сталину на портрете кто-то бороду нари­совал. Один, усатый такой, он у них, видать, был главный, спросил: «Это чья?» Отец на меня: «Вот его», - говорит. «Так это школьная, - говорю, - из библиотеки.» Он повертел-повертел её в руках. «Ладно, - говорит, - разберёмся». И велел другому забрать. Тот положил книжку к себе в сумку. Потом отец одел телогрейку. Усатый говорит: «Прощайся со всеми!» А отец только рукой махнул, его двое под руки взяли и повели. За за­бором, оказывается, машина стояла. Сели все и уехали. Усатый велел в Бутырки приходить справляться.

Я, как мог, старался ободрить Ивана. Действительно, что ж такого, что борода нарисована? Ведь это же не отец его на­рисовал.

Вскоре все заговорили, что на Вяльцевой даче обнаружи­ли склад оружия и что отец Ивана - бывший кулак и бандит. Он раньше кого-то в деревне убил, а потом скрылся. Словом, как в кино. Очень много этих новостей рассказывал Васька Колун.

- Брехня всё это! - убеждал нас Самовар-голова. - Мать говорит, это Васька написал на отца, что он жизнь ругал. Со­бачья, говорил, наша жизнь. А больше ничего и не было!

Но мы слабо верили нашему другу. Он мог и не знать, ко­нечно. А что отец его враг народа - сомневаться было трудно. Всё за это говорило: и злой он был, и всё время вроде как чем-то недоволен, и борода у него какая-то подозрительная. А главное - зря, так, за здорово живёшь не посадят же человека в тюрьму! И нам тяжело было смотреть в глаза Ивану, когда он защищал своего отца. И вообще, как-то с ним стало неловко.

А Васька ходил героем. Это было, можно сказать, триум­фальное шествие Колуна по планете; повсюду он собирал дань в виде наших почтительных взглядов, смешанных, правда, со стра­хом. Потому что всё-таки жуть какая-то брала, словно на твоих глазах оторвало человеку руку или голову размозжило.

Безмятежно пожинать плоды своего геройства Ваське, правда, довелось недолго. Однажды, когда Иван - как обычно, без особого успеха - выступал со своим очередным опровержением, вдруг, как снег на голову, возник Васька.

- Ты что тут болтаешь? - грозно надвинулся он на Ивана как раз в тот момент, когда Самовар-голова упоминал про со­бачью жизнь.

Вид Колуна был грозен, двойные зубы ощерились у самого Иванова носа. Помню, по спине у меня пробежал озноб: не сдобровать Ивану!

- Ты понимаешь, что ты говоришь?! – напирая на слово «что», зловеще прошипел Колун.

И мы поневоле все содрогнулись: и в самом деле, не надо бы Ивану так распускать язык.

- Да тебя за такие слова - гремел как с трибуны Колун, - к твоему бандиту-отцу отправить надо! Гадёныш!

И Васька на­отмашь ударил Ивана по лицу. Тот еле удержался на ногах.

В следующее мгновение Иван с перекошенным от ярости ли­цом (даже со стороны на него было страшно смотреть), сжав ку­лаки, кинулся на Колуна. Мы остолбенели: до того диким нам показалось такое развитие событий; ведь мы так привыкли ви­деть Ивана в роли паршивого щенка, которого Васька, бывало, вышвыривал из дверей клуба.

Самовар-голова показал хороший бокс: на Колуна градом посыпались удары. А тот, видимо не сразу придя в себя от изумления, ещё злее ощерил свои клыки и стал пихать Ивана, норовя сбить его с ног. Один раз ему удалось вцепить­ся Ивану в лицо, так что у того на малиновой щеке остался бе­лый след Васькиной пятерни. А другой раз он загрёб Иваново ухо и, видать, надорвал его, потому что на щеке у Ивана поя­вилась кровь. Но всё это только прибавило ярости атакам Са­мовар-головы, и скоро выражение на морде Колуна (нам это хо­рошо было видно) стало меняться: вместо наглой злобы на ней всё явственней проступал страх. Он растерянно стал оглядывать­ся по сторонам, словно прося нас о помощи. И нам стало ясно, что грозный Колун, перед которым мы так привыкли трепетать, был попросту жалким трусом...

Вдруг Васька быстро нагнулся и схватил с земли обломок кирпича. Размахнувшись, он ударил им Ивана по лицу. Иван за­жал рану рукой. Кровь из рассечённой брови заливала ему левый глаз. И тут Васька изо всей силы по-футбольному саданул его по ногам. Самовар-голова с маху, гулко так, хряснулся спиной и затылком о землю, а Васька стал пинать его ногами. И чуть только Ивану удавалось приподняться с земли, Колун каблуками сбивал его опять, и мы видели, как на окровавленном лице Ивана остаются отпечатки грязных Васькиных ботинок.

В каком-то оцепенении наблюдали мы за избиением Самовар-головы, и никто из нас так и не осмелился прийти к нему на помощь. Мне кажется, нас привёл в такой страх не сам Колун, а вид разбушевавшегося зверства. Что ни говори, а бесчеловеч­ность - страшная сила...

- Ну, будешь, гад, ещё хвост поднимать? - наклонился Васька над поверженным Самовар-головой.

- Сам ты гад! - еле хрипел Иван, потому что Васька совсем вдавил его в грязь. - Тебя надо как... как...как…ему хотелось одним словом сразить своего врага, - убить тебя, как бешенного пса, надо! Я тебя, всё равно, как собаку...

"Собака” и ”пёс" - это он, видно, по радио слышал.

Тогда и в печати, и по радио всё Левитан призывал уничтожать, как бешенных собак (или псов), всяческих выродков рода человеческого.

Упорство Самовар-голову проняло даже Колуна.

- У-у, морда! - пнул он Ивана для проформы в последний раз и, натянув набекрень свою кепку, слетевшую у него с го­ловы во время драки, не спеша, вразвалку удалился.

Иван поднялся с земли. Япоспешил к нему, но он оттол­кнул меня и, ни на кого не глядя, пошёл прочь. Я только ус­пел заметить, как у него искривились и задёргались избитые в кровь губы.

А вскоре он исчез. Вместе с мачехой их неизвестно куда вытурили из хибары. Этому невозможно было поверить, и я по­бежал на Вяльцеву дачу.

Была уже глубокая осень. Я вошёл через распахнутую нас­тежь калитку в сад. Стояла тишина, только шуршали в опавшей листве капли осеннего дождя. Двери на хибаре не было: чья-то хозяйская рука вырвала её вместе с петлями. Я вошёл.Внутри было неожиданно светло и просторно, потому что та же, видать, рука разломала потолок и крышу; она же не дала понапрасну про­пасть кирпичу: разобрала печку. По стенам свисали клочья газет, и на одном гвозде, как какая-нибудь древняя хоругвь, трепыхался под слабыми порывами ветра плакат с солитёром. Размокший от дождя, он так и сиял своими просветлёнными красками, громадный червь на нём, казалось, ожил: он изгибался всем своим длинным ленточным телом и победно покачивал водолазной головой.

Больше я ничего не слышал о Самовар-голове. Как-то в Лужниках, видел я, тащили милиционеры с трибуны пьяного. Тот хватался за всё, что ни попадалось на пути, и страдальчес­ким взглядом невинной жертвы, казалось, умолял всех за него заступиться. Его глаза напомнили мне Самовар-голову. Впрочем, скорее всего, это был всё-таки не он. Мне всё почему-то кажется, что Иван среди тех двадцати миллионов, которые не забыты...

Ну вот и всё. Простите, братцы, но меня так и подмыва­ет закончить свой рассказ моралью. Итак - мораль!

Самовар-голова, уж конечно, не думал-не гадал, что уго­дит в эту нашу серию замечательных людей. А ведь очень и очень ещё неясно, кто тут кому оказывает честь своим сосед­ством. Разве так уж часто встречаются в жизни люди, которым совсем чужд шкурный интерес, тщеславие и подлая страсть по­мыкать себе подобными? Всё, что ни делал Самовар-голова, он делал лишь из желания другому добра и потому, что считал это справедливым. И тут не имеют никакого значения масштабы его деятельности. Бог с ними, с масштабами. Кому что дано. Как бы ничтожно оно не казалось, все доброе, я уверен, не остается без последствий, и никто не может знать заранее, из какого ручейка проистечёт Волга. Аминь!

Ну, а теперь давайте-ка включим телевизор: футбол уже, наверное, начался.

1966 г.

МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ

Южное солнце пекло немилосердно. В такую жару, да ещё после обеда, насилу передвигаешь ноги.

У большой кадки с пальмой, на скамейке, устроилась нищенка: это её обычное место. Целыми днями сидит она здесь, уронив голову на грудь и, как и положено всем нищим, протянув праву руку ладонью вверх. Другая её рука прижимает к груди тетрадоч­ный лист, на котором крупно красивым ученическим почерком вы­ведено:

«Подайте на пропитание. Я глухонемая».

Можно было бы заподозрить, что нищенка пребывает в объятиях Морфея, если бы время от времени голова её не начинала мерно, как у заводной игрушки, кивать, а рука порывисто, не втакт голове, принималась крестить лоб и грудь.

Затекает у неё, видно, рука-то, так это она, надо пола­гать, для разминки.

Тётка здорово портит вид. Фигура нелепая: сидит, сгорби­лась, тёмный платок до самых глаз надвинут. Вылинявший муж­ской пиджак на ней, да ещё с чьих-то богатырских плеч, весь мятый. Всё это, конечно, не того… не гармонирует.

Ошалевшие от жары, обеда и процедур курортники проходят мимо, стараясь не глядеть в её сторону, как если бы кто здесь под пальмой сотворил некую неприличность.

Впрочем, однажды я видел, ей было оказано внимание. Ладный парень-атлет и три модные девицы шли мимо по аллее, лузгая семечки. Поравнявшись с нищенкой, парень остановился и положил ей в протянутую ладонь подсолнечную шелуху. Девицы зашлись от хохота, атлет посмотрел на всех молодцом.

Всегда как-то неловко с этими нищими: мало им дать - со­вестно, много - жалко. Я пошарил в карманах брюк - попалась двадцатикопеечная монета. Вроде бы и многовато, но дал, не рыться же, стоя перед ней, в карманах! Нищенка деньги сунула в свой богатырский пиджак, головой покачала и раза три пере­крестилась.

- Какая гадость! - услышал я вдруг за своей спиной голос, и голос до того внушительный, что даже вздрогнул. Сказано было на южный манер: «г» бережно почти не произносилось, в конце звучало ясное «а». «Какая адасть!»

Оборачиваюсь: идёт за мной молодой ещё, но очень предста­вительный брюнет и неодобрительно смотрит на нищенку и на ме­ня. Не так чтобы уж очень свирепо смотрит (ну вроде мили­ционера, например: сейчас тебя за шиворот и поволокёт знакомить с кузькиной матерью), а эдак вдумчиво глядит и с неко­торым даже недоумением: как же это, дескать, можно?

Мне диспуты после обеда ни к чему, я повернул в боковую аллею и там, в тени, сел на одиноко стоявшую скамью. Только но­ги вытянул и книжку было собрался раскрыть, появляется давеш­ний брюнет и садится рядом. Сел, как в кресло, плотно, разва­лясь; дымчатые очки снял и их в руке из стороны в сторону по­качивает. Потом, меня обнаружив, не ворочая шеей, бросил взгляд в мою сторону и заговорил спокойно так, уверенно, хотя и с оттенком неодобрения.

- Вот вы сейчас, - говорит, - дали этой нищей двадцать копеек.

- Дал, - отвечаю я и с омерзением слышу в своём голосе какие-то жалостные нотки. И отчего это всегда, как какой-нибудь сукин сын, робеешь перед такими вот краеугольными булыж­никами?

Прямо не верится, что он, самое малое, лет на десять мо­ложе меня. Красивый. Голова какая-то необыкновенно благород­ная. В профиль есть явное сходство со скульптурами античных богов и героев: не то Цицерон, не то Аполлон. Впрочем, для Аполлона у него шея малость жирновата... Лето, а у него кожа белая аж до синевы; руки холёные, в бронзовых волосах. Интересно, сколько у человека должно быть рубашек, чтобы они сохраняли такую белизну? И кто их ему стирает? Я, вон, один день поношу - воротник уже грязный. И шею ведь моешь каждый день, а то и одеколоном, бывает, ещё вдобавок протрёшь...

- Неужели вам не понятно? - всё помахивая своими очками, продолжал он выговаривать. - Вы же сейчас совершили преступ­ление.

- Как это? - удивился я.

- Очень просто. Вот вы дали этой нищенке двадцать копеек, так? Десять копеек она пропила - сколько осталось?

«Похоже, задачу диктует», - пронеслось у меня в голове.

- А за двадцать копеек женщины в грязелечебнице (видели, какой тяжёлый у них труд?) должны работать…э-э-э …а чуть ли не полчаса, я думаю.

- Ну, и причём тут я? Я не имею ничего против, если им бу­дут платить по рублю.

Я не об этом вам говорю, - уже строже остановил он меня. - Дело не в том, кто сколько получает: двадцать копеек или рубль.

«Или десять рублей», - подумал я.

- Ведь что главное? Главное, если бы не такие, как вы, то эта нищая (никакая она не глухонемая, будьте спокойны!.. И к тому же и не старая ещё совсем), эта нищая как миленькая работала бы и приносила пользу обществу. Одна милиция тут ничего без нашей помощи не сделает. Вот ударить бы побольней по таким покровителям, вроде вас, раз вы такие богатые! Чтобы соображали, что делаете. И все бы эти глухонемые, все эти калеки сразу бы повылечились, как жрать бы им стало нечего! А то сидят здесь чуть не на каж­дом шагу!

Моего уравновешенного собеседника охватило раздражительное вдохновение. Уж очень сильно, видать, его удручала несоз­нательность сограждан. Да свою отработанную в деталях теорию, как со всем этим быстро покончить, человеку, видно, не терпелось пустить побыстрей в ход.

- Это наша большая беда, - скорбел он, - что мы зачастую дальше своего носа не хотим ничего видеть. Не думаем, какой подчас вред наносят наши поступки обществу. Вот если бы нам самим в карман залезли, тут бы мы во всё горло завопили: караул, грабят! А на общество нам наплевать!.. Вот вы - кем вы работаете? - потребовал он у меня отчёта.

- Я рабочий. Слесарь.

- Так, рабочий... Вот если бы ты сделал ту или иную де­таль, а мастер тебе за неё не доплатил бы двадцати копеек, ты бы его, наверное, всеми матюгами покрыл, а то и за горло бы взял, а свои деньги вырвал. Правильно я говорю?

Сразу видно, что человеку близка и понятна жизнь простого народа.

- Предположим, правильно. Я только никак в толк не возьму, что вы так о моих двадцати копейках печётесь? - взбунтовался было я, малость задетый его переходом на ты. - Мои ведь деньги: кому хочу, тому и даю! Может, мне приятно было ей дать. А вы не хотите, так и не давайте!

Вот-вот, «мне приятно»! - впадая в некоторое уныние от моего упрямства, заметил Аполлон. - 0 чём я и говорю... Ты ещё, может, скажешь: я ближнему добро делаю, помогаю чем, мол, могу? Не помощь это, а один чистый вред!

- Обожрётся, что ли, теперь старуха на мои двадцать копеек?

- Не в этом дело, - он сморщился, как от боли, и не сразу нашёл в себе силы продолжать. - Вижу, ты меня никак не пой­мёшь. Ну давай попытаемся вместе во всём разобраться...Значит... так.

Тут его отвлекли. Видно, поблизости был муравейник, и по скамье так и сновали большие рыжие муравьи. Один из них вздумал было прогуляться в бронзовых джунглях на руке моего собеседника, но был низринут на скамью и раздавлен. Поверженный, со свёр­нутой шеей муравей упал на спину и стал, как акробат, крутить­ся на одном месте, словно мостик делал.

- Ишь, живучий какой! - пробормотал про себя античный ге­рой и, доконав муравья, продолжал:

- Значит, так. Представь себе, что бы было, если бы ты не стал работать, так? Я бы не стал работать, никто бы не стал работать, так? Все бы сидели с протянутой рукой, так? И просили милостыню. До чего бы мы дошли, а?

- А что если представить такую картину: я хочу быть рабо­чим, вы хотите быть рабочим и никто не хочет становиться на­чальником. Что бы тогда было? - не очень уверенный в том, что говорю что надо, пытался отпарировать я.

Мой собеседник некоторое время молча смотрел на меня (да­же очками перестал мотать), видимо, давая в мне время самому одуматься и осознать, что ничего более глупого сказать было невозможно. (Боюсь, что так оно и было).

- Надо всё-таки понимать что говоришь, - ещё строже заме­тил он и, мне показалось, взглянул на меня как на муравья. - Каждый делает что может: я не могу быть слесарем. Так? Ты на моём месте не годишься. Но все должны давать что-то обще­ству. Мы никогда не допустим (он погрозил мне пальцем, и голос его зазвенел, как у Левитана), чтобы за наш счёт, за счёт трудящихся, жили всякие паразиты.

- И понятное дело, кто не работает, тот не ест! - докон­чил я.

- Совершенно верно, - внушительно, словно подводя итог, сказал Аполлон. - Вижу, вы меня начинаете понимать.

«Опять на вы перешёл, - и то хорошо», - подумал я.

Между тем мой собеседник не без успеха всё продолжал воевать с муравьями. Увлекшись, он стал преследовать впавших в панику муравьёв по всей скамейке, вытаскивая их даже из щелей. Постепенно всё пространство между нами было усеяно дёргающимися члениками павших в этом неравном бою на­секомых.

- Нельзя, нельзя же так, - видимо желая смягчить моё пора­жение, примирительным тоном заговорил мой собеседник. А мо­жет быть, он уже считал, что обратил меня в свою веру. - Ведь так чёрт-те знает до чего можно дойти... Вот тут на днях мне ка­кую безобразную, понимаете ли, сцену пришлось наблюдать. Одна мамаша, совсем молодая и интеллигентная на вид, даёт своей дочке, девочке лет четырёх, десять копеек и заставляет её эти десять копеек отдать этой самой нищенке! Ну куда это го­дится, я вас спрашиваю? Стал я ей говорить - огрызается: не Ваше дело! А если на твоих глазах будут грабить или насиловать, тоже, выходит, надо молчать: не моё, мол, дело? *Люди* так не могут поступать. Человек,.. - он поднял палец. Я уж поду­мал, что последует «это звучит гордо!» - ...животное общест­венное, - сказал один мудрец. И ставить свои личные интересы выше интересов общества он не может. Просто не имеет права.

Ясно, черта под дискуссией подведена. Решили считать, что решение окончательное - обжалованию не подлежит.

И чувствуя свой крах, я всё не хотел сдаваться. К тому же зло брало на себя: мямлил-мямлил, слова толком не сказал.

- И волки - общественные животные, и бараны тоже, - пету­шился я. - По-моему, в людях самое важное не то, общественные они животные или не общественные, а то, что они не животные. Индиви...

- Правильно, - перебил меня мой собеседник. Нет, опреде­лённо, ему заранее было известно всё, что я могу сказать. - Совершенно верно. Если хотите, тут диалектический закон, единство противоположностей: человек - животное, - он устре­мил указательный палец в поднебесную высь, - и в то же время нечто совершенно противоположное, - палец стремглав нырнул вниз и упёрся в скамью. - Всё это сло-о-ожные фило­софские вопросы, знаете ли. Чтобы во всём этом разобраться, надо много учиться, много знать. А просто так болтать о таких вещах нельзя. Ведь это же наука, а не что-нибудь! - он по­жевал дужку очков. - Вот вы представьте себе: я вам, к приме­ру, стану толковать о высшей математике, так? Об интегралах, там, или о дифференциалах. Или вот ещё квантовую механику взять... Ведь что получится? Вы меня просто не сможете понять. Надо прежде хоть чуточку...

- Игорь Харитонович, вы здесь? А я вас по всему парку ищу-ищу...

Перед скамьёй выросла фигура, как вскоре выяснилось, ещё одного философа. Этот был много старше моего ментора, совсем худой и вид имел такой стремительный, что здорово смахивал на борзую собаку, взявшую след. Бегло скользнув по мне взглядом (мне сразу стало ясно, что дичь, вроде меня, его не интересу­ет), он набросился на своего упитанного коллегу:

- Вы были в корпусе, Игорь Харитонович? Знаете: там все наши из Таанроа (из Таганрога!) собрались: и! Борис Фёдоро­вич, и! Данилин, и! Пивоваров! Вечером все идут на цыган. Вы пойдёте, Игорь Харитонович?

- Право, не знаю, - вяло ответил Игорь Харитонович и по­двинулся ко мне, давая место коллеге-борзому. Своим объёми­стым задом, плотно обтянутым клетчатыми брюками, он вместе с трупами муравьёв придавил и полы моей распашонки.

«Килограммов девяносто потянет... больной-то», - подумал я, с усилием выдёргивая из-под него свою рубашку.

- Я совершенно вымотался, - продолжал томно Игорь Харитонович. - А сессия меня - ну, прямо доконала. Весь семестр та­кая была адская работа, такой ответственный материал!.. А сту­дентики аб-со-лют-но ничего не усвоили. Прямо, знаете ли, страшно! страшно за них становится, честное слово. Уж и не знаю: или у нас в работе какие-то ошибки проскальзывают?... - он совсем загоревал. - Чего-то мы, видимо, мы недоучли, недо­глядели...

- Да ведь программа, программа-то какая, Игорь Харитонович! - с заговорщицким видом, оглянувшись по сторонам зашептал его коллега. - Ну разве уложишься с такой программой! 0 чём только думали кто её со­ставлял! Такие сложные вопросы, такие вопросы! И всё бегом, всё бегом, всё комкаешь. Едва успеваешь определение дать. А надо ведь развить, надо сопоставить, надо осветить с разных сторон!

- Ну конечно, ну конечно! - Игоря Харитоновича хватило только на стон.

- А теперь будет и ещё тяжелее! - нет, поджарый определён­но решил доконать своего и так изнемогшего коллегу. – Вы представляете, сколько у нас прибавляется нового материала! И в таком всё запущенном состоянии... Хорошо, если часы доба­вят, а если нет – что *тогда* прикажете делать, а?..

И, не в силах вынести вдруг представшего перед их мыслен­ным взором – перспективы каторжного труда, на который они были обре­чены в самом ближайшем будущем, оба философа в безысходной тоске дружно взвыли в два голоса.

Меня словно тут и не было. Не скрою, я не без тщеславной надежды всё пытался заметить хоть какие-нибудь следы в Игоре Харитоновиче от нашей беседы. Мне очень хотелось думать, что он нарочно притворяется таким равнодушным, не замечая меня.

Но нет! Никакого притворства тут не было: он забыл о моём су­ществовании самым чистосердечным образом. Получалось, как слон и Моська: а он себе сидит и лаю моего совсем не замечает! И не лаю, конечно, а так - жалкого подвизгивания.

Напрасно я смотрел в раскрытую книгу: я не видел строчек. Нехорошие, мелкие и злые чувства меня разбирали...

- Игорь Харитонович! - вдруг радостно возопил поджарый. - Самое главное-то чуть не забыл! Вы знаете, кого я здесь видел? Зою Михайловну, вы только подумайте!

- Да что вы! - так и подскочил на скамье Игорь Харитонович.

В одно мгновение человек преобразился: вместо истомлённого трудами, маститого учёного мужа залучился жизнью и энергией, загорелся неподдельным интересом, охватившим его всего, до корней волос, задёргался и заелозил молодой здоровый паренёк. Да, он был намного моложе меня: как пить дать, ему ещё не было тридцати…

Я поднялся и ушёл

На скамье под пальмой неподвижно, как статуя в музее, сидела с протянутой рукой нищенка.

- Хватит тебе, тётка, придуриваться! - сказал я, подойдя к ней. - Сосёшь тут трудящихся! Давай, ползи на работу. С меня ничего больше не получишь. И детям закажу. И внукам, и правну­кам…

Голова нищенки пришла в качательное движение, и она нес­колько раз подряд судорожно перекрестилась.

Июнь-август 1967г.

ПЕРЕКУР С ДРЕМОТОЙ

### 30 октября 1967 года

### Понедельник

1

Если ты, с-с-сука, ещё хоть раз подойдешь к моему пацану, я тебе, так и знай... Голову суке оторву…Так и знай!..Шмаков водил кулаком перед самым носом оторопевшей свояченицы.

-Ты что, Саня?- залопотала та.- Да разве я что-нибудь..

- Ничего! Я все вижу. Хотите со своей матерью, старой су­кой, мальчишку на меня натравить?! Вот  вам! Видели? - следует выразительный жест.- С-с-суки…

Сашка еще не был пьян: всего только раз строи́ли. После пер­вого стакана он слегка побледнел и в душе у него, как обычно, проснулась и стала потихоньку разгораться беспричинная злоба.

- Да ты что, Санек, белены объелся, чи шо?- решил наконец вступить в семейный разговор мастер (все это происходило в его каморке). - Чего ты на девку накинулся?

Г.

- Девка! Сука она, а не девка, вместе со своей сестрой. Пацан вон, Колька, ко мне бежит, а она тащит его, не пускает. Колька! Пойди сюда!

Колька, малый лет шести, был тут же. Как только отец ворвался в дверь и стал ругать тётку, худое, мелкое лицо его расплылось в улыбку, рот раскрылся, он захныкал и принялся пританцовывать, перескакивая с одной ноги на другую, и при этом весь вид его го­ворил о том, что он предвкушает интересное зрелище.

- Мелешь - сам не знаешь что! - обиделась свояченица. - Совести нет совсем у человека! Я, больная, с ним вот вожусь, нарочно мальчишку привела. Отец называется, небось, целый месяц ребёнка не видел?

- И совсем скоро уйду! Живите, суки, как хотите!

Сашка вышел из кабинета мастера, хлопнув дверью: от косяка отвалился и упал на пол большой кусок штукатурки.

Издавая злобное ворчанье, прошёл он мимо верстаков, где в это время перекуривали рабочие. Время было - половина деся­того.

В другой раз Шмаков так скоро не оставил бы это дело - устроил бы кордебалет по всем правилам. Но сейчас ему было некогда: надо срочно кончить одну халтуру

Напротив через дорогу цех открыли, бабы красили платки. У них завсегда работёнку можно было подшибить. Расплачивались они, правда, не чистым спиртом, а разбавленным. Уксус, что ли, туда добавляли, потому что на вкус здорово кислило. Питьё так и называли - кислянка. Когда отрыгнёшь - нехорошо, но крепкая, зараза: с одного стакана́ уже веселым стаешь!

Работу Шмаков отложил. Благо мастер Тихон Захаровичу (его за привычку добавлять в конце каждой фразы «чи шо» ра­бочие так и звали - Чишо), благо, мастер Чишо всегда делал вид, что не замечает, чем он занимается. Потому что, во-первых, они с мастером, можно сказать, друзья, а во-вторых, Чишо не без основания считает, что Сашка не для красного словца как-то однажды пообещал протянуть его уголком вдоль горба, если тот бу­дет совать нос в его дела.

Халтурный бачок был почти готов, оставалось вырезать и приладить к нему крышку. Сашка приволок к гильотинным ножницам лист желе­за и включил рубильник.

Ножницы эти (рабочие их звали просто «гильотины»), когда их пускали, первым делом взвизгивали, точно собака, ежели ее огреть плеткой промеж глаз или окатить кипятком, и начинали сперва тихо, потом убыстряя бег, все громче и громче греметь своими изношенными шестеренками. Так что когда они разойдутся уже во всю силу, то рядом с ни­ми и даже поодаль, чтобы тебя услышали, надо было кричать во всю глотку. А когда резчик нажимал на педаль и опускался двухметровый нож, они ещё, вдобавок непонятно отчего, остервенело урчали. Словно злобный изголодавшийся хищник перемалывает мясо и кости своей жертвы.

2

Дела Сашкины, хоть он, конечно, плевать хотел на всех и на всё, были всё же неважные. Уже больше месяца он не жил дома. Не стало никакой возможности там жить, потому что ни за что-ни про что посадить могли тёща с бабой. Так и ищут случая, чтобы придраться к чему, суки! Мальчишку настрополили против него. Ладно тёща, и баба-то стала на него кидаться! Туда же, морда! И чего ей не хватало? Работал, как вол, когда спал - не знаю. Всё в дом тащил. Всех кормил, обувал-оде­вал. Ведь нищих из деревни приволок: кроме телогреек да ватных брюк, ничего-то ведь у поганок не было! Мебель справил: шкаф, диван, стол, шесть стульев. Тёща раньше только под хвосты коровам глядела, а теперь усядется на диван (яму своей толстой жопой продавила!) и цельный вечер телевизор смотрит. А кто, спрашивается, вот этим самым горбом его заработал? Эх, жалко соседи раз помешали: всё бы надо было разнести в щепки!

А халтура никого не касается: хочу - отдаю, хочу - пропиваю…Теща всё нос свой сопливый суёт куда не надо: у те­бя семья! у тебя ребенок! Лучше бы за своими дочерями-суками смотрела. Вон баба себе сумку надумала купить (видели миллионершу?) за двадцать рублей! Носилась все с ней, всем показывала. В конце лета ездили на теплоходе на массовку, вырвал он у нее эту сумку и швырнул за борт в воду. Потому что уж больно развеселилась она на этой массовке-то: то частушки всё похабные пела, а тут вдруг плясать принялась, задом своим толстым завертела перед всеми. Совести у суки нет.

С той поездки война и стала разгораться. А последний раз пришел он поздно вечером с работы, устал, как собака. И не пьяный почти совсем и был-то. Стучал-стучал - не открывает никто! Потом открыли. Тёща. Морда красная: дрыхла, небось. Зло его разобрало.

- Ты что, онанизмом, что ли, занималась, такая-раста­кая?

Тёща вдруг взбеленилась: как понесёт его, и тоже всё на ту же тему! По ночам не спала, что ли, все подглядывала. Опять соседи сбежались, связывали его, милицию вызывали.

После этого он и ушёл из дому и вот уже больше месяца живёт у одного друга в сарае. Три доски на дрова положил, на них и спит. Пока тепло было, ещё можно было терпеть. А теперь уже ноябрь скоро. Приятель говорит: живи, мне не жалко. Только, боюсь, замёрзнешь ты как-нибудь, отвечай за тебя.

Намекает, конечно, гад.

Можно было бы у Симки-сторожихи пока пожить. Симка - баба лет сорока. Вообще-то врёт, наверное, сука, больше ей. На вид - старуха, усохла совсем. Ноги, как у курицы, позвоночник через пальто проступает. И на бабу-то совсем не по­хожа. Рабочие её промеж себя Семёном зовут. И верно - Семён. Был у неё Сашка несколько раз. Она не то чтобы бутылку когда поставить, а суп наливает - и то пыхтит от жадности.

А что он такой дешёвый, что ли, чтобы даром с ней в постели лежать? Да кто же на такую головешку даром позарится?! Посмотришь этак на неё, когда она сопит рядом, ведь это же сблевать можно. Рот раскроет - большой, во всю тощую морду; в углах губ пена какая-то шевелится от вонючего дыхания. Задушил бы, а не только что…

А то еще обожрется, что ли, чего? – рыгать вдобавок начнет…

Нет, уезжать надо отсюда. Вон брат двоюродный зовёт в Чимкент. Пишет, что можно бы устроиться шофёром в милицию.

У Сашки права были, да отняли по пьянке... Но брат говорит: это-ерунда, все сделать можно. Он и сам там работает. Пишет, живет – что надо, работа не бей лежачего, свой домик есть с садом. Всю дорогу пьяный...

Однако с халтурой надо было поторапливаться: к десяти, сказали, кладовщик придёт - спирт будет.

Взвалив бачок на плечи (тяжёлый, чёрт! меньше как за три бутылки нельзя отдавать!), Сашка прямо через дорогу потащил его к соседям.

- Смотри, Сашка! Чишо у себя сидит, - крикнул ему вдогонку Валерка - молодой сварщик, прозванный за большую глотку Барма­леем. - Смотри, затралелюет он тебя.

Но Сашка, по обыкновению выругавшись и злобно что-то про себя ворча, поволок свой бачок прямо мимо окон кабинета ма­стера.

3

И Тихон Захарович, конечно, его видел. Еще бы ему было не видеть, когда он уже с полчаса, как вышла и свояченица Шмакова Нинка, все стоял и глядел в окно, рассеянно пыхтя сигаретой. Видел он и то, что сегодня с утра началась заводиловка: человек пять уже шляется выпивши, и Сашка тоже.

И видеть все это для Тихона Захаровича было - что гореть на медленном огне. Вот до чего люди распоясались!

А ведь сами мы виноваты: нянчимся-нянчимся со всяким отребьем. Поразогнать бы всю эту пьянь к чертям собачим!

Впрочем, и увольнения не очень-то помогали. Бывало так: допьются до какого-нибудь безобразия, либо всеобщий мордобой начнется, либо со склада всё подряд поволокут. Уво­лят. Вроде изжили. Ан глядь, новые пропойцы появляются, ещё хлеще старых, и опять всё сначала, до нового безо­бразия.

А что он, Чишо, может с ними поделать? Премиальниых лишить? Так за это им недолго и морду ему спьяну набить. А у него, какие у него права?

И поневоле теплым, отрадным чувством вспоминал Тихон Захарович другое время, хоть он и знал, конечно, что время это было трудным, суровым испытанием для советского на­рода.

Гибли люди. Разрушались государства, города, семьи. А его, Чишо, как это ни странно, война сделала человеком. Ну кем бы он сейчас был, не будь войны? Командиром отделения пожарников? Именно на этой низкой ступеньке застал его сорок первый год. Ушли начальники в армию, кто добровольно, кого послали. И Тихон Захарович стал политруком своей каланчи. А к осени стали эвакуированный было завод опять пускать, и партия двинула его налаживать выпуск самолётов. Нужны были дельные руководители, чтобы ликвидировать отставание в авиационной технике, как в ка­честве, так и в количестве.

Ясное дело, тут без вредительства не обошлось, что в нашей авиации оказался прорыв. И Туполев, подлец, подкузьмил: продал "мессершмидт" немцам! А ещё, один приятель-лётчик рассказывал Тихону Захаровичу по секрету: по всей границе на всех аэродромах самолётам было приказано профилактику сделать, и стояли они двадцать второго июня разобранные. Тут их немцы все без тру­да и уничтожили. И когда стали выяснять, кто такой приказ дал - не могли выяснить! Да, что ни говори, хитёр был враг.[[1]](#footnote-1)

Надо было работать, работать и работать не покладая рук. И Тихон Захарович не щадил себя на своем новом посту - его назначили освобождённым парторгом в заводской гараж.

У него дома на видном месте висела его увеличенная и подкрашенная фотография тех лет. Хорошо он на ней получился.

Главное, за то любил Тихон Захарович эту фотографию, что, глядя на неё, с гордостью замечал в себе большое сход­ство с ликами вождей, запечатлёнными на портретах; он выглядел таким же уверенно-величественным, и взгляд его чуть прищуренных глаз был так же твёрд и так же немного загадочен, как и у них, словно таил в себе некую необъятную мысль. Вот только Хрущёв, как и подобает двурушнику (теперь Чишо казалось, что он ещё тогда его раскусил), на портретах всегда чему-то про себя вроде как ухмылялся…

И во всём был Тихон Захарович твёрдым, целеустремлённым и дисциплинированным. Того же он требовал и от людей, и требовал без всякого спуску. Время было не в цацки играть.

Сейчас от того времени остался у него только китель. Чишо ходил в нём на работу. Как браво он сидит на нём на фотографии! И какой же он теперь! Замызганный, затёр­тый, с просаленным, разлохмаченным воротником. И сам Чишо здорово поизносился: пополнел, обрюзг; лицо стало толстым, невыразительным. Какой нос на фотографии! Прямо орлиный! А сейчас, как картошка, не сразу и заметишь…

Да! Славное, героическое было время. Внуки и правнуки, Тихон Захарович был в этом уверен, ещё не раз позавидуют сво­им дедам. А как люди работали простые советские люди! Сам Тихон Захарович, не считаясь со временем, иногда сутками не выходил из гаража: руководил, расставлял людей, без конца внушал им, как нужны фронту самолёты. Вздремнёт у себя в кабинете часок-другой, положив голову на парткомовские протоко­лы, - и опять в цех. Знал он, и тогда некоторые шипели: сам, мол, не работает, других только подгоняет. Только дурак или кто ещё того хуже может так говорить! Ни на мгновение не по­кидала его уверенность, что без него и без других таких же беззаветно преданных делу руководителей не вышло бы за воро­та их завода ни одного самолёта. Всё бы развалилось в прах!

И ещё вопрос: кто большую приносит жертву, он или, к при­меру, взять хотя бы Галямина, который и тогда, как и сейчас, работал токарем вего гараже? Галямину что? Ему даже лучше было на работе: по крайней мере, за своим станком на полу у ба­тареи он может часок-другой поспать в тепле в своё удоволь­ствие. А в общежитии, что его там ждёт? Свету, конечно, нет. Ну разве что в полнакала лампочка мерцает. Вода в умывальнике замёрзла; руки мыть никому и в голову не приходит. Ложись бы­стрей на голодное брюхо, наваливай на себя всё тряпьё, какое у тебя есть, да лязгай зубами, как голодный волчара, пока не заснёшь. А утром то ли проснёшься, то ли концы отдашь. Бывали и такие случаи...

А ведь Тихон Захарович себя всего лишал: тепла, семейного ую­та, ласки жены и детей. Потому что было надо.

И вот ведь странно: многие всё-таки этого не хоте­ли понимать! Но тогда с такими просто было.

Вон тётя Фрося-уборщица (она тоже вего гараже работала) вздумала как-то ультиматумы выставлять: подайте ей телогрейку! Холодно ей, видите ли, на дворе работать. Тихон Захарович в сердцах (до чего всё же наглеют люди!) даже голос на неё повысил. Бойцы на фронте в окопах замерзают, им тёплых вещей не хватает, а она здесь какие-то полчаса на дворе побыть не может: видите ли, её поганая задница стынет! Да если уж ты такая барыня, купи себе телогрейку на толкучке. Последний паёк продай, если надо. Для родины ничего нельзя жалеть!

Фроська тогда совсем зарвалась: стала вопить, что у *него*, мол, и телогрейка, и бушлат есть - в кабинете сидеть.

У *него*! Две большие разницы. Что он сам, что ли, себе взял? Ему положено.

Но это уж исключительный случай, чтобы кричать. Обычно же бывало достаточно на провинившегося человека просто с на­жимом посмотреть и тихо так спросить: ты понимаешь, что за э т о может быть? И ослушник сразу сникал.

А и вся вина-то его была не прогул, как сейчас (тогда бы с ним никто и разговаривать не стал), а либо работой бывал человек не доволен - у соседа, мол, лучше, либо ча­ще всего, какую-нибудь зажигалку в рабочее время делал, что­бы выменять её на толкучке на кусок хлеба.

Тихон Захарович не как другие, он никогда не испытывал к людям личной неприязни, не вымещал злобы. На первое место он всегда ставил дело. А потому, по большей части, pacтолковав преступнику, в какое время и в какой обстановке тот живёт, он отпускал его со словами:

- Ну ладно, иди пока, работай. Завтра будем с тобой говорить у начальника гаража.

Как легко сделать человека счастливым! И Тихон Захаро­вич знал приятное чувство от сознания содеянного ближнему добра. Но война не такое время, чтобы быть мягкотелым!

Должен же прочувствовать человек, осознать! Дома еще баба пусть его ночью попилит: ты что, мол, на фронт захотел попасть? Чтобы я с ребятами одна тут с голоду сдохла?

И придёт он завтра, зелёный от бессонной ночи, и скажет просто: «Простите меня, Тихон Захарович, я больше не буду.

Вот как было.

А сейчас ни энтузиазма, ни сознания, ничего в людях нет. Вот тут как-то план переменили: директор велел срочно всё бросать, шкафы металлические делать. Чишо, как старый конь, заслышавший боевую трубу, остановил цех, созвал коллектив на собрание: так и так, любой ценой надо к двадцатому шкафы выбросить.

Большинство, конечно, согласны и после работы прихва­тить, и в воскресенье выйти. (От лишней копейки кто отка­жется? Другого не удержи, так он и сквозняка начнёт да­вать.) Но кое-кто из рабочих, а в особенности Гринин, в спор вступили. Гринин разглагольствовать стал: как это, мол, так - любой ценой? С какой это, мол, стати за шкафы «любую цену» платить?

Попробовал бы он так говорить у него в гараже! Всё настро­ение испортил. Хотя, оно конечно, шкафы не самолеты, и враг не стоит у стен Сталинграда... Крылья подсёк у людей, негодяй… Много стал болтать этот Гринин, раньше за такие вещи посадили бы в два счёта.

Но он хоть культурно выражается, не сквернословит. А вот такого как Сашка или Бармалей, попробуй заставь их делать, чего они не хотят. Ты ему: «Я тебе приказываю!», а он: «Пошел-ка ты на фиг». И спиной поворачивается.

Вот ведь в какое идиотское положение поставлены руководители! Да, крепко напутал-таки Хрущев. Да и теперешние, конечно, не то. Чишо, подвыпив, последнее время всё чаще доверительно шептал своим друзьям, а иногда снисходил и до таких как Гринин: «Откровенно говоря, это мне и самому не нравится...»

Нет у руководителей настоящего авторитета. Болтают много, а толку - чуть. Бывало, Иосиф Виссарионович десяток слов скажет - заголовок длиннее, чем само изречение, - и изучай хоть целый год, а всего не постигнешь: в каждой-то фразе всё новое и новое будешь для себя открывать, будь ты хоть академик, хоть последний колхозник.

Вот к примеру, на память пришло: «Ответ товарища Сталина корреспонденту «Правды» насчёт испытания атомного оружия в Советском Союзе». С первого взгляда, вроде ничего особенного: да, мол, испытали и впредь будем испытывать атомные бомбы разных калибров. А, помнит Чишо, лектор, который делал на эту тему лекцию, поднял указательный палец: вдумайтесь, говорит, товарищи, хорошенько – «раз-ных ка-либ-ров»! Все вдумались, аж рты поразевали, но не могли постичь глубины. Оказалось (лектор же и разъ­яснил): у американцев-то есть пока бомба только одного калибра, а у нас - разных!

А теперешние что говорят? Это и Чишо может сказать: сам кружки по политграмоте вёл, и по международному положе­нию доклады делал на два часа.

Да, меняются времена... Одно лишь убеждение Чишо сто­яло неколебимо, и одно оно давало ему утешение. Это то, что по-прежнему он, Чишо, организатор и главная движущая си­ла производства. Что бы там ни происходило, а надо работать честно, отдавать все свои силы порученному делу. И, когда ему в плановом отделе спускали месячный план, он придирчиво, проверял его, ехал в управление о чем-то спорить, что-то до­казывать. Потом, пустив в ход четыре арифметических действия, он распределял работу среди бригад и отдельных рабочих, да­вал сроки, считал проценты, засиживаясь за этим занятием иногда за полночь.

И только сделав всё это, давал себе передышку, потому что понимал, что теперь-то всё будет в порядке. И даже можно считать всё сделанным. Потому что за многолетнее вращение сре­ди бумаг и всякой писанины сам прозаический процесс изготов­ления вещей посредством молотков и напильников как-то выпа­дал из поля его зрения.

И дома в шкатулке у жены он бережно хранил полученные им грамоты и дипломы за умелое руководство и за выполнение важ­ных заданий; если же и сомневался, то разве только в том, что по достоинству были оценены его труды...

Вид Шмакова, нагло потащившего бачок, больно уколол его. До чего всё-таки он докатился! Надо же было ему тогда связы­ваться с этим Пакиным, парторгом завода! Кто же мог знать, что секретарь горкома был его однокурсник по институту? Секре­таря горкома перевели на ответственную работу в обком, Па­кин стал заправлять в горкоме, а его, Чишо, чуть было не исключили из паpтии, пришили групповщину.

Самому Сталину пришлось письмо писать. От Сталина, конечно, ни привету-ни ответу (все тогда ему писали, при­ставали со всякой epундой, где же ему было со всеми разобраться), а приехали из ЦК два каких-то…чудака и, ничего толком не разобрав, выговор оставили в силе. Пришлось с хорошего за­вода уходить.

Пока всё это тянулось, Иосиф Виссарионович умер, и не­кому стало жаловаться. Насилу устроился на этот завод. Все тогда от него отвернулись! До того дело дош­ло, что директоришка этой шарашки (Чишо знал его по партий­ной работе) предложил ему поступить рядовым рабочим-слесарем. Вот она - награда за все его заслуги! Хорошо, из горисполкома позвонили (секретарша была старая приятельница) и велели оформить кладовщиком.

Ну это хоть на что-то похоже. Подсобный рабочий был в подчинении. Тихон Захарович его в замы произвёл, а сам обосновался за перегородкой. Письменный стол себе схлопотал. Папку завёл, бумаги в ней всякие держал: требования, наклад­ные. Подпись его красивая с росчерком на бумагах значилась, без неё они никакой силы не имели.

А то - слесарем! Да лучше председателем в колхоз на укреп­ление ехать!

А потом стал мастером этого участка да так и застрял. Ничего, свыкся. Начальник цеха далеко, тут он сам себе хозяин. Все бы ладно, вот только пьяницы эти отравляли жизнь Тихону Захаровичу. Просто тошнота к горлу подкатывала при виде их художеств. На всё-то им наплевать: за стакан вод­ки не только что интересы коллектива, а детей родных гото­вы, кажется, продать.

Страшно сознаться, а иногда аж сомнение начинало раз­бирать Тихона Захаровича: для кого старались-боролись, строили новое общество? Может быть, и поколебалась бы или даже совсем угасла в нём вера в советского человека, кабы не было других, отрадных, примеров перед глазами. Вот Эру Колбешкина взять: молодой парень, деловитый, старательный. Не замыкается же человек в своём узком шкурном мирке, а жи­вёт интересами всего коллектива! Всем парень интересуется, к знаниям тянется...

Да! Не забыть бы! Принёс Чишо для него из дому нес­колько газет: просил его Колбешкин подобрать кой-какой ма­териал. Видно, и в вечерней школе пользуется парень авто­ритетом: поручила ему учительница истории какой-то доклад сделать. Как бы не забыть (памяти-то совсем не стало!), от­дать надо газеты Колбешкину. Проще всего было бы, конечно, сейчас самому их отнести и заодно посмотреть, что там в цеху делается. Да захотелось Тихону Захаровичу удовольст­вие себе доставить: забыться от неприятных мыслей в беседе о умным и симпатичным ему молодым человеком, и он приоткрыл дверь, чтобы позвать Колбешкина к себе в кабинет…

4

У верстаков собрались перекурить несколько человек рабочих. Работа прошлого месяца у них была переделана, а на новый Чишо ещё задания не дал. Да и материал пока не ду­мали завозить. Так что времени у них свободного сегодня бы­ло много, и перекур получался длинный. Как говорится, перекур с дремотой.

Когда, хлопнув дверью кабинета мастера, мимо них про­шёл рыча Шмаков, один из рабочих подмигнул в его сторону и сказал:

- Никак Санёк уже выпить успел? И пятидесятилетия не дождался.

- Господи, ну как зверь человек, ну чисто зверь! - пока­чала ему вслед головой тётя Фрося-уборщица.

- Будешь зверем, - веско оборвала её Зинка-малярша.

Зинке хоть и сорок лет с хвостиком, а баба-ягодка. Не как другие, за собой следит: и губы покрашены, и причёска мод­ная наворочена.

- Это почему же зверем-то обязательно надо быть? - подняла от полу своё толстое лицо тётя Фрося.

Не любила она эту Зинку. Давно ли та в бараке жила, из телогрейки не вылезала? А сейчас на работу в шляпе ездит! Всё за соседом майором да за его женой гонится. А вот тут как-то умывается, а у самой платье под мышками рваное, зашить лень. Кофту напялит дорогую - и ладно...

- Со зверями только и надо зверем быть, - сощурилась на тё­тю Фросю Зинка. - Как-никак, а он отец своему ребенку. Я очень хорошо видела, что у них было! Мальчишка к отцу под­бежал, а Нинка (Зинка изменила голос): «Иди сюда, Колька, - говорит. – Нечего тебе там делать!» Другой бы за такие вещи по морде бы ещё съездил, и правильно бы сделал.

Сашкина свояченица Нинка работала в этом же цехе то­же маляром, и Зинка часто была ею недовольна. То работу ей лучше мастер даст; то краску она заберёт себе хорошую, а ей оставит такую, что не сохнет целую неделю; то новые кис­ти привезут - хвать, а их уже Нинке отдали. А вот тут наряды закрывали за месяц, так вышло, что у Нинки и заработок больше на два рубля с копейками. Подумать только! А ведь Зинка и по воскресеньям работала, и после пяти оставалась, а как получать - так даже меньше приходится. Где же тут справедливость? До того ей обидно стало от всего этого, что, когда Нинка сегодня пришла на завод (она вообще-то бюллетенит, а больная притащилась, небось, чтобы узнать, сколько заработала), когда она пришла, Зинка ей в ответ «здравствуй» не могла сказать. А только накрашенные губы сжала и нарочно в другую сторону отвернулась. Пусть понимает как знает. Да разве бессовестных людей чем проймёшь?

- Ведь надо же, до чего есть люди наглые! - всё изумляясь глубинам человеческой низости, говорила Зинка, - Лезут в чужой дом, в чужую семью.

– Чего там - лезут! - вполголоса, оглядываясь в Саш­кину сторону, заговорил немолодой рабочий, сидевший на ящике из-под болтов.

Сашка Шмаков работал электросварщиком, а этот рабочий, по фамилии Семыкин - с ним слесарем. И уже давно он сидел здесь, потому что без Сашки ему делать было нечего.

- Чего там - лезут! - закипая сказал Семыкин, - Тёща Сашкина у сына гостит, а баба его на двух работах работает. Пацан заболел, вот и девай его куда хошь. Когда теперь в сад-то возьмут? Одни анализы две недели будешь таскать, Нинке и приходится с ним нян­читься. Другой бы спасибо ещё сказал…

- Господи! - сердито фыркнула тётя Фрося; она даже мести перестала. - Дождёшься теперь спасиба! Ходи и оглядывайся, как бы не кинулся на тебя кто.

- Любого человека, какой он ангел не будь, можно из себе вы­вести, - многозначительно заметила на это Зинка, всё думая о тяжё­лых испытаниях, выпавших на её долю, и невольно проникаясь к се­бе уважением за то, что ей-то, несмотря ни на что, всё ещё удается оставаться ангелом.

- Да брось ты! - тётя Фрося с остервенением принялась за метлу. - Если ты человек, так ты человеком и будешь. А кто совесть потерял, у того всё другие виноваты.

- А зачем она, совестъ-то? - философски заметил Семыкин. - Нынче она не надоть.

- Почему нынче? - вступил в разговор ещё один рабочий с худощавым, болезненного вида лицом. Это и был Гринин. - Ты что же, думаешь, что совесть когда-нибудь приносила доход? Человеку всё велит быть бессовестным. И даже догадаться невозможно, откуда такое и понятие-то, совесть, могло в людях появиться…

- Ну уж это ты загнул, - остановил его не перестававший работать за тисками Эрнст Колбешкин, ладный парень лет трид­цати. - Чего же тут непонятного? У каждого человека должно быть сознание, потому что все мы живём в обществе.

5

Не любил Колбешкин этого фитиля-Гринина. О чём бы ни заговорил фитиль, всё вызывало в Колбешкине насторожённость и раздражение. Да впрочем, что от него ещё и ждать? Сам же он признался: сидел за антисоветскую агитацию. Ну и понятно, обозлился. А ведь если крепко всё проанализировать, то не злиться ему надо, а радоваться и благодарить. Его пожалели: срок дали детский, всего пять лет, а теперь и совсем реабилитировали. Один чёрт! Как волка не корми - всё в лес смотрит.

Хоть и среднюю школу кончил, а так никуда и не посту­пил. Ясно, кишка тонка. А обо всём берётся судить, и всё вкривь да вкось.

Сам Колбешкин, несмотря на свою молодость, был челове­ком солидным. Настоящий слесарь, специалист. На штампах сто­ял, с допусками-припусками имел дело. Не чета этим шерамыжникам. Какие они слесаря! Они и напильника-то в руках не держали. Бери больше - неси дальше, вот и всё их умение. У не­го и вид-то был совсем другой: настоящий пролетарий, таких на плакатах рисуют. Комбинезон чистый (в прачечную сда­ёт каждую неделю), из-под расстёгнутого ворота виднеется ру­башка модной расцветки. А эти, как каторжники! Кто - в чём: на ком - спецовка, на ком - пиджаки. И всё грязное, рваное, на палец маслом покрыто. Разве тут кто достирается? Как надел, так и носи, пока не развалится всё на куски или сгорит от искр электросварки. Да и то: если брюки, к примеру, взять, так после того, как они спе­реди все порвутся, некоторые ухитряются их задом наперёд ещё носить!

И живут все неважно, без цели, без смысла. Пьют много, а пить не умеют. Все пьют, кроме этого фитиля-Гринина. Да и тот рад бы, небось, напиться, да где ему, гнилой совсем: желудок всё болит, соду без конца пьёт. Загнется скоро, а туда же – хорохорится!

И само предприятие-то вшивенькое, одно название - завод. Так - шарашка. В любой момент мог бы уйти Колбешкин в ящик работать, его бы сразу приняли. Он два года на спецобъекте на глуби­не двухсот пятидесяти метров работал. Этих ишаков и на десять километров к такому объекту не подпустили бы. Но погодить надо малость. Руку надо набить. А главное (правильно жена говорит), в партию надо вступить. Не для чего-нибудь, а так, чтобы жизнь была полнее, чтобы было что вспоминать. Конечно, ему везде рекомендацию дадут но все же тут дело на мази: Чишо хоть сейчас даст - раз. Да ещё старик-сторож один тут придурковатый есть, он подмахнёт.

А выпить можно. Он и сам с утра стакашок пропустил: после вчерашнего воскресенья ломало малость, да к тому же, друг один с трояком подскочил. А вообще-то, сегодня надо потише: в школу вечером идти. А то после аван­са по милости дружков - послушал дураков! - перебрал малость, нехорошо получилось: пришёл в класс, сел на заднюю парту и не заметил, как заснул. Разбудили аж на третьем уроке.

Да, умеючи надо пить, а то есть некоторые, вроде того же Сашки: понажираются с утра и ищут на свою голову приключёний. И хотя бы пили уж очень много, а то так, глупость одна. Настоящих-то пьяниц в районе всего каких-нибудь три-четыре чело­века, они и в дружине всем плешь переели. Не в питье дело. Пить - пей, да дело разумей! Фитиль вон - не пьёт, а что тол­ку? Мозги совсем вывихнутые, мелет всякую чепуху, хуже пьяного. А всех алкоголиками честит! Вот тут как-то до чего до­говорился: алкоголизм, говорит, у нас достиг размеров национального бедствия. И у него даже получается, что чуть ли не нарочно кто-то людей спаивает! Разве из-за каких-то дураков можно совсем водку запрещать? Вон, ухитряются же некоторые под машины попадать, так что же? Прикажете автомобили уничтожить?

Вот привычка у гада! Всегда из мухи слона сделает!

Люди пили и пить будут, только смотря как. Его, Колбешкина, дед чуть ли не ведрами в себя водку лил, а какой был здоровый! На дворе мороз, бывало, трещит, а он хоть бы что: рукавицы скинет и голыми руками супонь в палец толщиной завязывает. До восьмидесяти лет дожил – и все зубы целы. И хозяйство вел – дай бог всякому! Алкоголик! То-то сам Гринин, не пьет, а дохлый совсем…Национальное бедствие! Слова-то все какие жалкие подбирает! Просто уметь надо себя в руки взять. Ведь вот он, Колбешкин, тоже был таким же, как Сашка. Сколько времени упустил! Слушал дураков всяких, пьяный тоже, бывало, валялся, учиться бросил. Отец тут отчасти виноват: зашибать стал, семью забросил. А какой человек был! Настоящий коммунист. Недаром его Эрнстом назвал, в честь Тельмана. Всю жизнь боролся, разоблачал. Кулаков раскулачивал. Одно время да­же заведующим школой был: старый зав оказался врагом наро­да, и Колбешкину-отцу пришлось навести в школе порядок. А последние годы до бригадиров докатился; и то, так, из уважения к старым заслугам только числился. Хрущёв его всё же здорово подкосил, из колеи выбил.

После армии был Эрнст на отцовой могиле, и до слёз ему стало обидно. Насилу отыскал он её, могильный холмик про­валился и весь зарос травой. Хоть бы памятник какой поста­вили! Ничего не было. Противно стало глядеть Колбешкину на деревенских своих земляков, оказавшихся такими неблагодарными. Подумать было страшно - остаться здесь жить. Хорошо, в Москве удалось зацепиться. Правда, с первой женой не повезло, развестись пришлось. Зато вторая...

Да, с Тамаркой, своей второй женой, Колбешкин другим человеком стал. Как светом каким вся жизнь его осветилась. Правильно сказано: ключи от счастья в руках у самого человека. Мог бы пьяницей стать или ещё кем, и того хуже, а вот взял же свою судьбу под уздцы. В этом году вечернюю школу кончит, в институт будет пробиваться. Учёба-то, правда, идёт так себе: когда тут особенно учиться-то? Да и ерунды всякой много преподают: литература или история, на­пример. Чего же тут изучать, раз всё уже прошло? Трепотня всё это. Ну математика, там, физика - другое дело.

А Тамарка - молодец. И его тянет, и сама в гору лезет: сейчас уже завуч, а скоро и директором обещали в новой шко­ле поставить. Правда, постарше она малость Колбешкина и замужем уже к тому же побывала. Но тут не по её вине раз­вод был; просто мужик ей дохлый какой-то попался. Эрнст ви­дел его в школе (тот тоже учителем работал): так, слизняк какой-то. Соплёй можно перешибить. Разве Томке такого надо? Баба - огонь.

Колбешкин всякий раз, думая о своей жене, и к себе проникался невольным уважением. И уверенность в себе и в своём будущем в нём удваивалась.

6

- ...Удивительно не то, что есть бессовестные люди,- размахивая рваными рукавицами, продолжал между тем раз­глагольствовать Гринин. - Удивляться надо, что не все люди бессовестные. Вот на женщин глядеть, разве не удивительно? На таких, вроде Сашкиной жены. И чего ради они хлопочут? На работе, как лошади; в очередях стоят: то жратву какую подешевле купить, детишкам что получше, понарядней. От страха трясутся, копейки считают: как бы концы с концами свести. Дома опять хлопоты: коврики какие-то развешивают, к праздникам прибираются; пекут, варят что по­вкусней...

- Ну погоди! А кто же должен всё это делать? – перебила его Зинка.

- А наплевать бы им на всёнадо. Да гори всё огнём! Пусть дети голодные орут! День прожил - и ладно. Раз совесть не нужна. То ли дело: выпить или с мужиками покрутиться. Один раз ведь на свете живём.

- Вот-вот, - закивала тётя Фрося. - Многие так сейчас и делают. Бывало, говорили: грех! Бог накажет, нельзя! А сейчас чего бояться? Милиции, что ли? Её только честные люди бо­ятся, а на которых креста нет, как в старину говорили, им и тюрьма - дом родной.

- Зря ты бога сюда приплетаешь, - поправил тётю Фросю Колбешкин. - Вон сектанты, уж как в твоего бога верят, а что творят. По телевизору смотрела? Показывали: мать дочь род­ную чуть не уморила. И нет никакого бога! И наукой сто раз доказано. Есть только человек! Всё остальное - дело рук самого человека. Тыщу лет люди на твоего бога надеялись. Так бы и сгнили в нищете, кабы не догадались, что всё от них самих же зависит. Человек! - Эрнст поднял над головой напильник, - сам кузнец своего счастья.

- Что же ты себе ничего не сковал? - спросил Колбешкина Семыкин. - Работал в десяти местах, женился да разводился...

- Он с первой женой в убеждениях не сошёлся, - съехидни­чал Гринин.

- Может быть и так, - твёрдо ответил Колбешкин.

Про себя-то он был уверен, что так оно и было…

Гостил он проездом их армии домой из армии у товарища в Москве...Вот где люди живут! Как не позавидовать? В ресто­ранах сидят, все в шляпах ходят. А бабёнки какие, и-эх!.. И познакомился он с одной продавщицей из винного отдела. Старше она была Колбешкина лет на десять, но видик - что на­до, модный: и волосы накрашены, и глаза подведены. Да и фигура из себя ничего. Через неделю после того, как пер­вый раз продала она Эрнсту из-под прилавка отлитую в чекушку водку, они и поженились.

С самого первого дня всё у них пошло коряво. Принёс Эрнст к молодой жене (Райкой её звали) свой чемодан. И, ког­да спать ложились, закрыл его, а ключ, по обыкновению, к кальсонам за петельку привязал. Кое-какие деньжонки в че­модане у него были, так мало ли что…А Райка увидела - взбеленилась. Уматывай, орёт, вместе со своим паршивым чемоданом! Насилу поладили...

И всё-то время их недолгого совместного житья шла грызня. Он, конечно, не такой хам, как Сашка, он с бабой не дрался, и соседи на скандал не сбегались. Во всём Райка была виновата: чуть не в открытую каталась, сука, по ресто­ранам с летчиками какими-то да с иностранцами. А станешь, бывало, ей говорить, начинает вопить, проходимцем обзыва­ет. Из комнаты пробовала выгонять, но Эрнст свои права очень хорошо знал: нет такого закона, чтобы его выселить, раз у него прописка. А вот к Райке, так можно ключи подо­брать: шляется чёрт-те с кем.

Как-то без жены случайно нашёл у неё в сумке Колбешкин фотокарточку: сидит его Райка в иностранной машине за рулём (по номеру хорошо было видно, что машина дипломати­ческая), а рядом у открытой дверцы какой-то иностранец в очках стоит. Американец, наверное, потому что морда удивительно подлая. Даже оцепенел Колбешкин, как увидел эту фото­карточку, от радости. Да если её показать кому надо, Райкин и след простынет!

На другой же день понёс он её начальнику отделения мили­ции (он был знаком с ним по дежурствам в дружине), зара­нее предвкушая, как будет майор изучать фотокарточку, как звякнет куда надо, как велят установить за Райкой наблю­дение и, кто его знает, может быть, его Райка - это кончик нити, и он, Колбешкин, поможет разоблачить крупную шпион­скую организацию. Да и за Райкой ему же могут поручить слежку!

Под наплывом таких приятных мыслей, Эрнст рассказал всё начальнику отделения и выложил перед ним изобличающую Райку фотографию. Но тот равнодушно взглянул на неё и, не переставая куда-то собираться, спросил:

- Так это твоя баба и есть?

- Ну.

- Она комсомолка?

- Да куда там! Ей сто лет в обед.

- Жалко. По комсомольской линии можно было бы пропесо­чить. А так тебе самому придётся её воспитанием занимать­ся.

Колбешкин взволновался. Ясно, майор не понял суть дела. Какое тут воспитание?! Ведь вот же она - сидит в дипломати­ческой машине, а это всё равно, что на территории иностранного государства. Тут же прямая измена родине - преступление, которое, как говорил им в армии замполит, ничем не может быть искуплено...

- Ерунда всё это, - устало прервал его майор. - Их сейчас там, знаешь, сколько таких пасётся? Если всех сажать, так… - и он небрежно отбросил карточку и стал надевать шинель.

- А бабёнка ничего себе, стерва, - уже бодрее добавил он. – Иностранцы домой вернутся - хвалить будут. Тоже вроде рек­ламы …

Пришлось Колбешкину уходить от жены. Потому что Райка, прознав о его проделках, совсем его засрамила: всем расска­зывала про него всякие гнусности и в глаза и за глаза иначе, как «товарищ Говешкин», не называла.

7

...Тётя Фрося всё не унималась:

- Не знаю, что это за бог такой. Нас никто в такого бога верить не заставлял. Не только чтобы детей или, там, ска­жем, своих родителей, а и всех людей надо любить и уважать. Никого обжать нельзя, вот как нас учили. А какие праздни­ки были! Пасха, Рождество... Это ведь сколько радости ­было людям! Вот объясните мне, грамотеи, - взяв метлу на караул, бросила вызов тётя Фрося, - объясните мне, не могу я понять, кому это всё могло помешать? Зачем такую красоту в грязь втоптали?!

- Тут и объяснять-то нечего, - втолковывал ей Колбешкин. - Как это - всех любить? И фашистов тоже? Бороться надо, а не любить всех подряд!

- Я, тётя Фрось, тебя уважаю, но вижу, что ты в исто­рии совсем не волокёшь, - заметил ей Гринин. - Ничто не ново под луной. У нас, на Руси, до твоего бога другие боги бы­ли, знаешь ли ты это? Наши далёкие предки поклонялись Пе­руну. А князь Владимир-Красное Солнышко (святых-то почитаешь?) нового бога ввёл. Перуна же сбросили в Днепр. Пришло время - и твой бог стал не нужен. Потому что другая сейчас религия. И чтобы никакой, значит, конкурен­ции не было, твоего Иисуса и его служителей поприжать надо, а лучше, и совсем извести. А то отвлекают они народ от бога, которого нам власть наша дала, и чего тебя новая религия не устраивает? Всё-то в ней есть: и пасха, и рождество, и бог-отец - во борода! И бог-сын - борода пожиже. И святые есть, и мученики, и угодники. И царствие небесное - аж на земле! - нас всех ожидает, если будем хорошо делать, что нам велят. И даже разжалованный в черти ангел теперь появился...

- Не мели, чего не смыслишь! - остановил Гринина Колбешкин. - Сравнил тоже: то - наука! А религия, сказано: опиум для народа.

- Говорил бы уж самогон, понятнее было б, - вставил Семыкин.

- Опиум сказано. Отвод глаз. А тебе сейчас на землю показывают: как тебе лучше устроиться.

- Вот-вот! - радостно подхватила тётя Фрося. - Это точно, как устроиться! Обманывать да воровать - это сейчас все и стараются.

Ничего не поняла старуха.

- Надо, чтобы цель в жизни была! - убежденно сказал Колбешкин. - А то рот все разевают, делать ничего никто не хочет. Учиться надо! Ты вот сегодня после работы пойдёшь выпьешь, а я должен на занятиях преть. Вот я получу диплом, уж конечно, ишачить, как ты, не буду! Устроюсь на лёгкую работу, получать хорошо буду, а ты рот разинешь: почему тебе меньше платят? А вот тебе - ви­дел!

- Но ведь всё равно, все не могут быть начальниками, - возразил ему Гринин. - Где же тогда рядовых-то брать? Разве что где-нибудь в Африке рабов чернокожих отлавливать.

- Ишшо можно своих, заключённых погонять, - вставил Семыкин. - Ну и чудная всё же жизнь пошла! Раньше кажный старался, как бы побольше вспахать да посеять, а нонче, чтоб про­кормиться, все норовят ничего не делать...

- И чего ради ты учиться-то советуешь? – продолжал Гринин. – Ладно, если бы ты науку любил, технику. А то ведь ты что говоришь? Пролезть, дорваться, а там на всех плевать...

- А тебе кто мешает? Ты вон какой грамотей.

- Ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму! Разбойники грабили бы дом, и человек бы им сказал: что же вы делаете? А они ему: грабь вместе с нами, дверь-то открыта. Не каждый всё-таки к грабителям присоединится...

- Ну вот, доболтался! По-твоему, учиться всё равно, вы­ходит, что разбойничать?

- Ты что, прикидываешься таким дураком или на самом де­ле? Вы же, такие вот, не учитесь просто так-то, даром. Ведь плати вам не за науку, а за то, чтобы эту науку изводить, вы сразу перейдёте на это занятие! - Гринин начи­нал кипятиться, и от этого его обычно землистые щёки по­краснели. - Ещё о каком-то сознании толкует, о совести! Ска­зал бы прямо: хочу поменьше работать, побольше кусок урвать. Хотя бы и за счёт ближнего...

- Обмани своего ближнего, а то дальний обманет тебя, - зычным своим голосом изрёк подошедший Бармалей.

- О чём толковище, люди сказочного королевства, а лю­ди сказочного королевства? -спросил он, закуривая.

- Действительно, сказочного... За совесть вот Гринин агитирует, - объяснил Семыкин.

- A-а! Без совести нынче не проживёшь, вчера слышал, по радио тётка какая-то сказала. У самой, у первой, видать, совести и нету...

- Совесть у всех есть, - возразил Гринин. - Самому что ни на есть расподлецу посмотри этак в глаза, и то у того что-то промелькнет на морде, как отблеск какой. Откуда она взялась - понять невоз­можно, это точно. А есть. Потому каждый и чувствует, что по совести, а что нет. Это всё равно как, вот к примеру, ракета в космосе летит, знаешь, как она нужное направление находит? Или в самолёте есть такое устройство - автопилот. Я читал, гироскоп называется. Вроде волчка. Оказывается: волчок как запустишь, всегда он так и будет вращаться. Крутись вокруг него весь мир, хоть на голову всё становись, хоть на дыбы взвивайся, а он все одинаково будет стоять. Вот и в каждом че­ловеке есть такой гироскоп. Сверен он с каким-то главным волчком, и одним концом на добро указывает, а другим – на зло…

- И кто же его запустил? Уж не господь ли бог? - насторожился Колбешкин.

- Я же сказал: этого понять невозможно.

- Ну кто же, кроме бога-то?

- Может быть и бог...

- Договорился! Значит, бог есть, по-твоему?

- Я же говорю: не знаю. Вон умные люди, не чета нам, го­ворили: я знаю, что ничего не знаю, а Колбешкину всегда всё ясно. Тогда объясни! Давно ли люди и от зверей-то не от­личались, глотку друг другу перегрызали...

- И сейчас перегрызёшь, жить захочешь, - поддакнул Семыкин.

- А дальше и ещё больше всякого зверства в человече­ской истории. Откуда же, глядя на все эти безобразия, человек мог про какую-то совесть догадаться? И на кой чёрт, спра­шивается, она ему понадобилась? Чтобы легче сожрать его бы­ло с совестью вместе? Вот и выходит, что сам он никак по­нять не мог, что добро, а что зло. У него как должно быть: мне на пользу - добро, во вред - зло.

- Ну и правильно! В конечном счёте, и сейчас все люди так же рассуждают, - разъяснял Колбешкин. - Только понимать стал человек больше: раньше каждый себе тащил, а сейчас по­няли, что в обществе выгоднее и все...

- И все теперь для других стараются, - злорадно перебил его Валерка. - Скажешь тоже!

- Ты вон водку разливаешь, - набросился на Колбешкина и Семыкин, - и то смотришь, как бы другу на каплю больше не досталось!

- А зачем мне своё тебе отдавать? Сознание не в том за­ключается, чтобы я - тебе, а ты - мне. А все мы должны отда­вать обществу, что положено…

- Какого хрена ты нам проповедуешь: отдавать, отдавать?! - взорвался Валерка. - Мы и так всё отдаём за сто рублей в месяц да за грыжу в придачу! Ты бы тех агитировал, кто от жиру лопается...

- Не надо, Валерк, этих граждан трогать, - примиритель­но сказал Гринин. - Колбешкин сейчас скажет, что раз ты не можешь руководить, то и сиди в дерьме.

- А что, разве не так?

- Ладно, пусть будет так... Я вот думаю, что бога всё- таки нет.

- Это как же?

- Да хватит вам! Завели муть какую-то! - не выдержала Зин­ка. - Правильно Колбешкин говорит, я тоже, дура, в бога верила, а что он мне дал? Пока домикитила: если сама своим горбом ничего не добудешь, кроме вшей, другого богатства не жди.

- Ты какому богу молилась-то? - раздражённо спросил у неё Гринин.

- Какому…какому все молятся.

- Зря время тратила: бог промтоварами не заведует. Земные боги есть, это они мебельными гарнитурами да сервизами могут оделить. Им бы тебе и молиться, а у настоящего бога просят дру­гое.

- Чего ещё просить-то?

- Ну лучше чтоб тебя он сделал. Чтобы дал силы добро людям делать.

- Я, слава богу, не хуже других некоторых. Добро делать! Будет у меня всё - я и буду добрая. А пока у людей того не хва­тает, этого, проси-не проси у твоего бога, всё равно, все как волки будут. Тут и спорить нечего - всё ясно. Хватит трепаться! Перемените пластинку, давайте что-нибудь поинтереснее, а то: бог, бог - сблевать можно... Вот ты лучше скажи, - обратилась она к Эрнсту, - я всё смотрю и думаю: кто это тебе щёку расца­рапал? Сразу видно, не мужская работа. Жену в больницу положил, а сам, видать, за чужими бабами ударяешь?

- Был грех, - ответил ей Колбешкин, скромно потупясь. - Вче­ра вообще весёлый денёк выдался. Утром пошёл в парикмахерскую, там друга одного встретил. Выпили. Иду домой мимо стеклянного магазина - Витька-Овёс (помнишь, у нас сварщиком работал) ос­танавливает. Сам крепко уже под мухой, говорит, третьего не хва­тает. Пришлось выпить. Домой прихожу, а меня там один парень - учимся вместе - ждёт: книгу принёс, брал у меня Горького. Го­ворит, у бабы трояк взял, пойдём ко мне, закусить чем будет. Только по стакану с ним махнули - вот тебе баба его заваливается. Как понесёт нас! Оказывается, она трояк-то ему дала за теле­фон уплатить! Пока она его поливала, я смыться хотел, а он: си­ди, говорит. Я сейчас у неё, у суки, пятёрку вырву. Я, говорит, видел, она в кулаке зажала. Насилу я от него выбрался! Пришёл домой - спать завалился. Вдруг соседка будит: подруга к ней при­шла в гости (мужик у ней вчера был на работе). Посидел у них, красного выпили. Мало. Соседка напротив сходила - трояк заняла, побежала за бутылкой, а мы вдвоём остались... Главное, бабу-то эту я хорошо знаю, путается с кем попало. А тут ей моча, что ли, в голову ударила?

- Ха-ха-ха! Эх, дали бы мне волю, всех бы я вас, мужиков, рядкам за одно место повесила. Ни одного-то дня без бабы обойтиться не можете, кобели!

- Не все такие удальцы, как Колбешкин, - возразил Гринин.

- Ну если только у кого атрофировано всё, а живой человек без любви жить никак не может.

- Тьфу! При чём тут любовь? И что ты, Зинк, за человек, ей- богу!..

- Ты у нас один только хороший, все остальные у тебя плохие да бессовестные.

- Я только про тебя говорю! Сколько я тебя ни слушаю, всё-то что ты говоришь, ведь это любая волчица сказать могла бы, кабы язык у неё был. Всем жрать хочется! Всем баб хочется! Как будто у людей и за душой больше ничего нет.

- А было бы что - все бы из дому тащили, а не в дом. И за чужими бабами не бегали бы... Молодчик, Колбешкин! По крайней мере, будет что на старости лет вспомнить, а не так, как у неко­торых: не то жил, не то нет... Жена-то сегодня, что ль, из боль­ницы выходит? Небось, спросит, кто тебе морду-то разрисовал?

- Завтра. Ничего! Скажу: бритвой порезался... Ну подожди! Пускай Гринин всё же договорит. Бог в волчок играл-играл, а потом куда делся?

- Того бога, который людей добру научил, нету. А вместо него, скорее всего, самозванец какой-то сидит, - нехотя продолжал Гринин. - Настоящего бога он скинул и теперь всем заправля­ет. Если бы совсем там, - Гринин ткнул пальцем в потолок, - никого не было, то людям когда бы и xopoшo было, когда - пло­хо, когда бы правда верх брала, когда - ложь. А то, что полу­чается? Вся-то жизнь - какое-то сплошное издевательство: нет в ней ни справедливости, ни добра. И опять же: если бы всё само по себе шло, то и смысла бы не было. А смысл есть: ведь явно кто-то над людьми потешается. Стравливает всех, как собак, и это доставляет ему удовольствие. Такие вещи и на земле случались. Вон Мустафа дорогу строил, а Жиган его убил. Правил же от имени самых гуманных идей людоед...

- Какой ещё Мустафа? И это где? - Колбешкин перестал во­дить напильником.

Ну ладно, о совести этот Гринин несёт всякую ерунду, или там о пьянстве - куда ещё ни шло. Но уж о политике ему никак нельзя давать врать. В политике он, Колбешкин, деся­терых таких, как Гринин, за пояс заткнёт.

- Где…у нас, понятно. Люди боролись, свою и чужую кровь мешками проливали, мечтали построить общество без угнетения, а получился большой концлагерь...

- Это, значит, Сталин - людоед?!

Непонятно, почему за такие слова он не даст фитилю по морде. Сталин - людоед!

- Ну а ты что, сегодня на свет, что ли, родился? Ведь и на съездах говорили. Сколько миллионов трудящихся пересажали ни за что...

- Никаких трудящихся никогда не думали сажать.

- Как?! - подпрыгнул на этот раз Гринин. - Как не думали сажать? А кто же сидел в лагерях-то? Где набрали столько эксплуататоров?

- Трудящиеся как работали, так и работали, - спокойно и уверенно разъяснял Колбешкин. - Никто их не трогал. А сажали тех, кто нос совал куда не надо.

- Как - нос совал? - весь аж затрясся Гринин. Нервный всё же мужик. - Что значит, куда не надо?

- Кто занимался полезным делом, тому нечего было бояться…

- Ага! Значит, хомут тащи в своё удовольствие сколько влезет, а ежели насчёт овса заикнулся - контрреволюция?

- Чего - насчёт овса? - не понял Колбешкин.

- Ну если колхозник, к примеру, говорил: за палочку работаем, и ему червонец давали, то значит, так ему и надо, нос сунул, куда не положено! Рабочий говорил: норма­ми душат - и ему надо червонец! И меня вот за то, что я сейчас говорю, тоже посадить, по-твоему, надо?

«Тебя, гада, расстрелять мало», - чуть не вырвалось у Колбешкина, еле сдержался.

- Конечно, - подтвердил он.

- Здорово! Ну посадишь ты меня, и со мной ещё десять миллионов пересажаешь. Ну и что от этого? Картошка подешевеет? Обуви будет навалом? Или с жильём свободней? Ведь пробовали уже! Только подлецы от подлецов от всего этого выгадывали. Для их благополучия и переморили столько народу! Рань­ше, кто так говорил, черносотенцами называли, мракобесами. Ну а по теперешним временам ты, конечно,  считаешь – революционер?

- Революционер!- убежденно сказал Колбешкин.

Да! Это самое главное в революционере - никого не ща­дить для укрепления завоеваний революции! Так и отец всегда говорил. И железный Феликс.

- Вот времена! - совсем расстроенный, обратился ко всем Гринин, - Вишь, как сейчас легко стать революционером! Ори во всё горло, что давить всех надо, да следи, чтобы недовольных не было. А раньше-то дурачки всякие на каторгу шли, на каз­ни, чтобы угнетения не было, чтобы люди могли свободно дышать, говорить что думают. И не знали, бедняги, что сейчас бы их Колбешкин в контры зачислил...

- Надо знать, - оторвавшись от работы и в назидание под­няв напильник, прервал разошедшегося Гринина Колбешкин. - Надо понимать, кто сажает. Кого сажают. И за что сажают...

И опять принялся за работу.

- Понятно. Но уж это мы до другого раза оставим, а то ты ведь и уморить можешь... Хотя ещё одно объясни. А вот тех, кого замучили, а потом посмертно реабилитировали, ну военачальников например: Блюхер, там, Якир, Тухачевский, – вот,кто их мучил, тот тоже революционер?

- Чего же тут объяснять? Уже сто раз и так всё объяснили. Вредительство было. Перед самой войной почти весь командный состав расстрелять! Чего же тут не понять - кому это было нужно. Дураком надо быть. Никто не говорит, были и ошибки. Как Ленин сказал? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Может быть, еще кое-кого не разоблачили...

- Ты доразоблачишь. Примешь эстафету отцов, - Гринин вытер покрывшийся испариной лоб. – Вот ведь как получается, сперва говорили: ошибок не было, потом – ошибки все исправлены, а теперь, выходит, ошибка была, что не всех передушили.

- А ты как думал? Всякий навоз вонять будет, а мы терпеть должны? Ишь, добряк какой нашёлся: никого обижать нельзя! Да если ты хочешь знать, те, кто врагов уничтожают, в тысячу раз добрее таких слюнтяев, как ты!

- Ну да, знаю, знаю! Тебя послушать, так сейчас самая гу­манная должность у палача...

- ...и поменьше надо всякие радиопередачи слушать, - про­должал наставительно Колбешкин. Расстроенный вид Гринина доставлял ему большое удовольствие. Здорово он его все же раздавил! – А то понаслушаешься всякой ерунды и повторяешь.

- Ну конечно, сами-то по себе люди ни до чего додуматься не могут. Мне семнадцать лет было – посадили. Вот следователь тоже, бывало, допытывался: кто на тебя влиял? Опытную руку матерого врага народа всё искал. А чего там было влиять? Просто говорил, что видел. Думал, другие не замечают. А все, конечно, тоже видели, да умнее меня были – помалкивали. Это как в сказке про голого короля. Знаете, небось? Ну как же? Мошенники взялись сшить королю такое платье, что его не будут видеть дураки и те, кто не на своём месте. Золото и драгоценности, отпущенные из казны на работу, хапнули, а платья, понятное дело, никакого…Словом, указ от седьмого-восьмого, червонец сроку. Идёт король по городу голый, а все орут, что в жизни такого прекрасного пиджака не видели. Кому же охота про­слыть дураком или очутиться на другом месте, в Сибири на­пример? И только мальчишка один (чокнутый, наверное, был ма­лость) заорал: а король-то голый! Вот кто ему мог эту вредную идею внушить, о голом-то короле? Как сами никогда своих мыслей не имели, а только, как попугаи, чужие повто­ряли, так и про других думают...

- А зачем мне открывать второй раз Америку? - снисходи­тельно растолковывал Колбешкин. - Что я, умнее Ленина, что ли, или Горького, например? Вон продают в магазине ботинки хорошие. А я должен, по-твоему, сам себе шить. Какие у меня могут получиться? Так и ты: хвалишься, что у тебя свои мысли, а что толку? Только путаться умеешь да других путать. А вот Горький сказал: у кого мысль ясная, тот и говорит ясно, а у кого мысль путаная, тот и выражается путано. И еще он сказал: истина всегда проста!

Да, Колбешкин с удовольствием сознавал, что сколько он ни думай, никогда ему до таких глубоких мыслей не додуматься. Ведь надо же так сказать! И верно, истина всегда проста. Потому и проста, что истина; потому и истина, что проста.

Не любил он мудрствования. Со школьной скамьи это как-то к нему привилось. Проходишь, бывало, какого-нибудь дремучего классика, вот Льва Толстого например, и, положа руку на сердце, непонятно, и за что его так люди вознесли? Один дурак, видно, похвалил, другие повторяют. Ведь когда его читаешь, ну юродивого хоть этого, так ведь словно в темном лесу заблудился, что к чему не разберешь. Потому что он и сам-то, конечно, не понимает как следует, чего сказать хочет. Зато как потом все становится на место, когда учебник откроешь или предисловие прочтешь: отброшены все мелочи, из которых, как слепой, классик так и не мог выбраться, и схвачена сама сущность. Потому и изложено все ясно, легко и доходчиво. Сказать по правде, он и Ленина-то совсем почти не читал. Сколько раз принимался, а только книгу откроет – в сон сразу кидает. Потому что Владимир Ильич горячился очень, все спорит, кому-то что-то все старается доказать. А чего там дуракам доказывать? То ли дело – разработки по темам, все растолковано, что и как понимать… Да! Есть умные люди на свете!

…В это время из двери своего кабинета, как из норы, выглянул Чишо и поманил Колбешкина пальцем.

8

- И за что он Сталина так уважает? – недоуменно обратилась ко всем тетя Фрося, когда Колбешкин ушел.

- Сталин его отцу корову дал, - объяснил ей Валерка.

- Как так?

- Он сам рассказывал. После войны мать у него умерла, жрать было нечего. Отец Сталину писал, просил помочь. Сталин и велел выделить им из колхоза корову.

- Миллион, коров Сталин у людей отнял - этого он не видел! А одну корову ему дали - и хорош стал. Вот люди! - возмутился Семыкин.

- Зря ты, Колька, с ним всё споришь, - обратился Валерка к Гринину. - Видел дураков, но такого больше не встретишь. Действительно – Колбешкин…Смотри, он тебя ещё под монастырь подведёт.

- Был бы дурак, не учился бы. А он человеком будет точно,- убеждённо сказала Зинка.

- Сейчас-то ему потрудней будет человеком-то стать, - воз­разил Семыкин. - А вот при Сталине - это точно: заложил одного-другого, глядишь, тебя и заметили, глядишь, и в гору полез. Вот времечко было! Я мальчишкой был, помню, как в колхоз ещё загоняли. Это что делалось! Вот бы в кино-то показать. Рассказал бы кто другой – не поверил бы, ей-богу! Ведь как Мамай прошел! Разбежались кто только мог куда глаза глядят. А кого в Сибирь услали. Больше половины изб пустые стоят. Заходи - бери что хошь. И зачем? Кому от этого польза?

Так, ради смеху, - объяснил Валерка. - Эх, дали бы мне сейчас тряхануть кой-каких кулаков!

Вот сейчас точно - кулаки, - согласился с ним Семыкин. - Тогда у тебя последнюю лошадь отымали, говорили: кулак! А те­перь своя машина - и ничего. Я вот в прошлом году летом в дерев­ню к бабиной родне ездил. Как-то племянник её, малец лет десяти, прибегает вот с такой рыбиной. Ничего себе, думаю! Надоть сходить половить. Стал удочки налаживать, а они мне: не ходи, говорят, в нашей речке можешь только пескаря с палец величиной поймать. А это, оказывается, рядом дачу себе кто-то отгрохал. Ограда железная, метра три высотой, кобели по проволоке бега­ют - глядеть страшно. И ему, значит, пруды вырыли и рыбу туда запустили, карпа. Уж не знаю: его самого или холуев его детишки рыбу эту ловят, а девать-то им её некуда - что они, голодные, что ль? - так они эту рыбу через ограду бросают. Ну а наши де­ревенские ребята, понятное дело, друг у друге карпа этого чуть что не зубами рвут. Вот как его, чей этот карп, назвать?

- Не знаешь будто? - съязвил Валерка. – Это ж наш с тобой слуга.

- Тут не в том дело, тёмный ты человек, у кого что есть, - возразил Гринин. - Покупай на заработанные деньги что хошь. Запрещено только на других наживаться. Кулачество ликвидировали как класс, додуваешь?

- Да брось ты! Ежели бы одних кулаков курочили - никто бы слова не сказал. Просто ты, к примеру, не хотел в колхоз иттить - ты и кулак. Помню, у нас в деревне на собрание всех согнали, партиец из райкома выступает, спрашивает: как колхоз назовём, товарищи? А один мужик возьми да скажи: назовём, говорит, «Кому деться некуды». Тут же забрали - прямо с собрания! И исчез т о в а р и щ , и не видел его больше никто. Вот ведь что делали. Не люди, а звери. И хоть бы хозяйству какая польза была, ладно бы ещё, а то ведь самый лютый враг столько вреда не нанес, сколько колхозы эти, мать бы их... И ещё люди есть - Сталина хвалят! Вон Хрущёв - уж как его поносил: и такой он, и сякой, а как за коллективизацию речь зайдёт: это мы, товарищи, говорит, сделали большо-о-о-е дело! И холуи его – сами-то все из деревень поразбежались! - туда же: честь и хвала! Он бандит, а ему орден вешают.

- Я вот кино одно недавно смотрел, - вмешался Валерка, - про тигров показывали. Оказывается: обыкновенный тигр на людей не кидается. Он антилоп всяких жрет, оленей. Но если случится тигру отведать человечины, то он на антилоп уже – ноль внимания, а становится тигром-людоедом. И ничем его от этого не отучишь. Вот так и у нас: вскормили породу людоедов на человечьем мясе, и теперь, пока они все не перемрут и не пой­дут нормальные тигры, ничего хорошего ждать не приходится.

- Нет, по-моему, это ты зря, - не согласился Семыкин.- Какой Колбешкин тигр? Так - шакал. И откуда же тогда первые-то людоеды взялись? Ведь их никто не воспитывал. В любой мо­мент, стоит только свистнуть - и налетит всяких проходимцев, как мух на дерьмо. Я вот помню, у нас в деревне был такой Яша-дурачок. Отец - пьяница, в доме у них хоть шаром покати. Летом он в подпасках ходил, а зимой совсем ничего не делал. Здоровый верзила уже был, а всё с нами, с детворой, возился. Помню, лягушку нас научил надувать. Соломину ей в зад воткнет – во какую раздует! Пустит в воду, она плавает, унырнуть никак не может…Ну в общем, совсем слабоумный был. А стали колхозы организовывать – сразу в люди выскочил! Недаром и лозунг выкинули: пролетарии всех стран, соединяйтесь-то. Это выходит, кто пролетел совсем, хозяйство вести не мог, соединяйся, значит, и других разоряй. Ведь что делалось? Все, что было – уничтожали. Мужики, кто поумнее, только головами качали. А такому – хоть кол на башке теши. Бывало, бабы за ним бегут, ребятишки плачут, а он хоть бы что, тянет за рога последнюю корову. (Семыкин для наглядности поволок за шиворот Гринина). Или придет – хлеб весь выгребет. И лазит, бывало, по двору по снегу вот с таким рожном. Мужики хлеб-то прятать стали: ведь надо же самим-то жрать хоть что-нибудь. Нет, найдёт! Да ещё плеткой протянет да тюрьмой пригрозит. Это за твое добро! И мало их таких было? А ты про какие-то волчки толкуешь…Совесть, если она и есть, то всё равно что не­ту, никто её не слушает.

- Ну почему же - никто? - возразил Гринин. - Вот ты, стал бы ты у людей последний хлеб отнимать?

- Я не отнимал, так у меня всё отняли. Одни волки не мо­гут на свете жить: кого же им тогда жрать-то?

- Мне не надо доказывать, что на земле много зверства, я кое-что тоже повидал. Но только откуда же всё-таки звери берутся? Вон, ребятишки-то маленькие - какие все слав­ные! Правильно было сказано: будьте как дети! А им: будьте как дяди! Правила какие-то навыдумывали. А ведь если малые ребята честнее, добрее, человечнее взрослых, то чему же взрослые их могут научить? Ну читать-писать, наукам всяким, обращению со спичками. А как быть хорошим человеком? Разве этому надо детей учить? Вот ещё кто-то эти идиотские барабаны навыдумывал. Нет чтобы парню сказать: подумай, мол, хорошо ли это, плохо ли, - сейчас в барабан: брам–барарам-рам, брам-барарам!..

- Слюной потише брызгайся, - отстранилась от Гринина Зинка.

Тот отёр губы и продолжал:

- А ведь это специально, чтобы совесть заглушить, потому что и учат, как без совести обходиться. А ведь если человек не по совести поступает, он, по-моему, все равно как и не живет. Потому что все, что он ни делает, он делает не по своей воле: то ему начальство велит, то устав, то сосед так делает или, вон как Колбешкин долдонит, Горький так говорил или Ленин. Вот гонится, к примеру, за человеком натасканная собака. Ведь ей, конечно, ка­жется, что всё это она делает по своей воле: летит во весь дух, гавкает. Потом догонит, накинется на человека, зубами его рвёт! Насилу её оттащат. Чем не идейность? А ведь она всего-навсего, как инструмент какой, не себе принадлежит, а хозяину. Так же и людей можно одура­чить. Вот я расскажу, у нас вэтапе случай какой был. Среди бела дня бежали из вагона четверо пацанов. (Я с малолетками на этап попал, вот веселый был народик!) У стены вагона жестяная воронка была устроена вместо параши, так они ее выдернули, дырку в полу побольше разломали и прыгали туда по одному, вроде десанта. Чего им в голову взбрело бежать – понять трудно: мелкие воришки, сроки у них были полтора-три года, не больше…Троих тут же у колес пристрелили.

- Ну и дураки. Мне один мужик рассказывал, как из немецкого плена бежал. Между колес прыгать надо.

- То немцы. А тут начальство все предусмотрело: в каждом этапе на последнем вагоне гребенка такая устанавливается, вроде бороны или там граблей. Лежит человек на шпалах, радуется: убежал, мол! А тут как раз зубьями-то мясо с костей и долой!..Нашим-то пацанам ночи бы надо было хоть дождаться: днем-то вертухаям, чай, в охотку стрелять было. Дремали-дремали на своем священном посту, а тут вдруг – на тебе, дичь прямо из-под колес выпорхнула! Небось, еще спорили потом: это, мол, я попал – Нет, я!... Троих подстрелили, а четвертому удалось порядочно отбежать. Остановили поезд, собак спустили. А снегу было - во! (Как раз через Урал переезжали.) Бежать трудно. Собаки его сразу догнали и на снег положили. Они так научены: если лежит человек - не трогают, а чуть привстанет - кидаются на горло. Тут конвоир подоспел и выстрелил в пацана почти в упор. И потом ещё штыком три раза грудь насквозь про­садил. После этого мальчишку вместе с тремя другими в пустой вагон кинули. Думали, он мёртвый, а он ожил. Я его потом в центральной больнице видел. Пуля ему голову навылет пробила. Всю правую сторону у него парализовало, и язык еле ворочался; говорил, как с кашей во рту, не сразу разберёшь. А на штыковых ранах только спереди наклейки оставались, а сзади всё зажило...

- От нашего штыка быстро раны заживают, верно, - подтвердил Семыкин. - Опосля немецких ножей на фронте, бывало, долго болели...

- Между прочим, больничный опер следствие над ним вёл. Их больше трех человек бежало. А это значит – групповой побег, а за групповой побег шили пятьдесят воcьмую, контрреволюционный саботаж. Десять лет обеспечено. Бывало, санитар тащит его на руках, как ребенка, в кабинет врача к следователю… Так вот, я и хочу сказать, чем тот конвоир от собаки отличается.

- Сильно культурным себя считаешь, а человека с собакой сравнял, - добродушно укорила Гринина Зинка.

- Во-во! – окрысился на нее Гринин. – Говорить, что человека от собаки не отличишь – плохо, а наяву делать из людей собак – хорошо. Я, что ли, этого конвоира кругом ограбил, так что у него от человека-то только одна видимость осталась? А ведь тоже, наверное, себя, как Колобешкин, сознательным борцом считает. И не обязательно он злым человеком должен быть. Домой приходит, с детьми возится или с соседями козла забивает. И знакомые считают его добрым малым. Может, так оно и есть. Просто на службе человек сам себе не принадлежит: как авто­мат какой, фигачит всё по уставу. Ну перестарался малость, так это даже похвально… А надо, чтобы человек всегда по тому уставу жил, который у всех у нас в душе заложен. Стоп! Дай прислушаюсь, чего это у меня там пискнуло?

- Чего там прислушиваться! – оборвал опять Гринина Семыкин. - Знать-то все знают, что́ белое, а что́ чёрное. А толку что? Лю­бому дай рубль, и он тебе хоть про сажу скажет, что она белая. А еще рубль дашь – зеленая, скажет, либо красная.

- Нет, Леха, не скажи. Не всегда в рубле дело. Иногда на людей, в особенности ежели их в кучу сгрести, как гипноз какой нападает, рассудок у них совсем меркнет. Видят, на глазах безобразие творится, а вроде так и надо. Все на голову может встать, а что было правое, получается левое. Вот я, опять же, про этап хочу рассказать. Палец у меня нарвал в вагоне, дергает и дергает. Кажись, не будь нарыва этого, лежал бы себе под нарами да блаженствовал. Терпел я-терпел и пожаловался при обходе медсестре. Как в клетку к каким ди­ким зверям, поднялась она к нам в вагон. Стала мне перевязку делать, а сама, наверное, не столько о моём пальце думала, как о том, чтобы я как-нибудь ненароком ей все пальцы не от­грыз. И для охраны лейтенантик с ней рядом стоял, бравый та­кой, красивый, как червонный валет. Должно быть, начальник конвоя. Этот лейтенантик, бывало, только вагон откроют, баланду поставят или, там, воды нальют в бочку, всегда тут как тут: стоит у открытых дверей с длинным прутом в руке и тех, кто вытерпеть не мог и на воду набрасывался, он стегал этим пру­том по ногам, выше ему с земли дотянуться было трудно. И тут стоит, как в почётном карауле, только вместо сабли дер­жит в руке свой прут и геройски на нас поглядывает: вот я, мол, какой молодец! И, главное, медсестре этой он, конечно, бесстрашным и благородным рыцарем казался. Ну попробуй растолкуй ей, кто настоящий-то зверь, так разве она согласится?

- Ну почему она, по-твоему, не согласится? – спросил Семыкин

- Я же говорю, внушили ей, что зверей везут…

- Ерунда! Чего же ты ей ничего не можешь внушить? Кто ей платит, того она и слушать будет. Не было ещё такого дурака, чтобы от своего куска хлеба отказывался. Любой услышит, где таньга звенит, туда и голову поворачивает. Вот тебе и весь гипноз!

- Так уж и любой... А мало ли примеров, люди от всего от­казывались, а не шли против своей совести?

- Где это? - насмешливо спросил Валерка.

- Да хотя бы и у нас, в России. Из богатых, знатных фамилий шли в революционеры. Припеваючи могли бы жить, а от всего отказывались. Потому что другим хотели помочь.

- Ну да, другим! - отрезал Валерка. - Жили хорошо, а хотели лучше.

- Ну а Джордано Бруно, такого ты знаешь? Чего это ради он решил на костре сгореть?

- Потому что дурак был!

- А я думаю, потому он решил сгореть на костре, что легче это для него было, чем согласиться с неправдой. Вот ты говоришь: все знают что́ зло, что́ добро, а делают зло, когда выгодно. Делать-то делают, а на душе у каждого скре­бёт: подлец я, подлец! Что же тут хорошего? Неужели, ну вот хотя бы ты, Валерка, никогда никому добра не сделал? Может, деньги потерянные кому вернул?

- Как же! - насмешливо сказал Семыкин. - Бармалей бумажник найдёт и сейчас мечется с ним: кто потерял? А все отказыва­ются: нет, не мой…

- Ха! А что? Один раз выбиваю в кассе за бутылку. Даю кас­сирше трояк, а она мне, гляжу, сдачи два рубля отваливает, думает, с пятёрки. Ошиблась, говорю, посчитай хорошенько, Матрёна! А она - ругаться: подумала, что мало. Насилу допетрила…

- Ну а пожалел ты, что не обманул её? Мог бы ведь на её деньги ещё бутылку купить.

- С похмелья пожалел бы...

- Их и жалеть нечего,- вставила Зинка. - Они тебя сто раз обманут, не пожалеют...

- Значит, есть же для тебя что-то важнее выгоды, раз уж ты от лишней бутылки отказался! Поменьше надо всяких учителей да пророков слушать. Каждый сам себе пророк. Говорит тебе совесть: это плохо, значит, и делать этого нельзя.

- Тебе, Кольк, сорок лет, а ты как младенец, eй-богу! - возмутился Семыкин. - Ну как ты можешь меня убедить по совести жить, если это мне невыгодно? Правильно тётя Фрося говорит: раньше хоть чертями пугали. А теперь-то чего ради мне стараться? Всё равно всем подыхать, так уж лучше ты подыхай сегодня, а я - завтра! А такие, как твой Жардан (это который успорял, что земля крутится, что ли?), - самые несчастные люди. Да я что хошь буду орать, хоть крутится земля, хоть прыгает, лишь бы польза мне от этого была. И так любой. Один раз на свете живём! А то и родиться незачем...

- Господи! Где уж нам понять, зачем люди родятся! Поум­нее нас люди голову ломали, понять не могли. Я не спорю, каждому охота пожить получше. Только зря ты думаешь, что Джордано Бруно несчастный был человек. Уж можешь быть уве­рен, что своим палачам он не завидовал. Просто он знал, кро­ме удовольствий, которые мы все ценим: еду, баб, ну вообще, кроме богатой жизни, ещё и другие. И ты бы подумал: ведь не дурак же он, в самом деле, был! Раз человек отказался от всего, только бы остаться честным, ведь значит, это ещё важнее жратвы да богатства. А мы, к примеру, с тобой пом­рём, а так этого и не узнаем, кто же тут в выигрыше и кто в проигрыше? Вон червяки, живут без глаз: ползают, ковыряются в земле и довольны. И уж конечно, они уверены, что никакого зрения на свете нет, а если и есть, то порядочному червяку оно ни к чему. Ну червяки, они так устроены, у них положение безвыходное. А человек-то, если от совести отказывается, ведь своими руками, может, самой большой радости себя ли­шает. А жизнь, вот именно, один раз даётся...

- Ну подожди! - перебила Зинка, - Как же так? Если все никого слушать не будут, а станут эгоистами, кажный будет делать только что ему приятно, тогда такое начнётся!..

- Ну конечно! Если люди будут поступать по совести, тосразу начнутся грабежи и насилия! Это ты верно говоришь: лю­ди, которые совесть не забыли, делают, что им приятно. Одно­му приятно в Сибирь идти, другому - на костре гореть. Потому что самая большая неприятность для таких людей - сделать подлость. Понятно, какие они эгоисты? А вот твой майор гарниту­ры да ковры себе покупает, а сам всё о народном благе, конечно, печётся. Он общественник, о себе не думает...

- О себе все думают, - не уступала Зинка. - И тебе покажи рубль, на карачках, небось, поползёшь.

- Всё по себе судишь?

- А ты что, лучше меня, что ли? Все одинаковые, только од­ни попроще, ничего не скрывают, а другие хитрее, притворять­ся могут: ничего, вроде, им не надо, а на самом деле кого хошь за копейку продадут. Знаем... А майор - что? Культурный чело­век, вежливый. Получает, что ему положено. Такие деньги ни за что разве платили б? Завидно людям, вот и болтают незнамо что…И за Колбешкина, опять же, скажу. Разве тебя, к примеру, с ним сравнить? Что толку, что ты книг-то начитался? Такой же ишак, как и мы, даже хуже. А он парень толковый, сразу видно.

- Я этому Колбешкину вчера чуть промеж рог не за­катал, - сказал Валерка. - Под руками ничего не было, а то так бы блин из него и сделал. Вот как сейчас тебе: наслушался, говорит, «Голоса Америки»! Отцом всё своим хвалится. А сам же рассказывал, что он от водки помер. У меня вон отец на фрон­те погиб, я не ору об этом на весь свет.

- У меня отец тоже коммунистом был, - сказал Гринин. - Ещё до революции народ здесь лечил. Всю жизнь хлопотал: то прививки, то эпидемии, то с лекциями мотался по всему району, все его до сих пор добром и поминают. А Колбешкин только од­но и знает - как ворон каркать: борьба! борьба! Борись на здо­ровье, кто тебе не даёт? Борись с темнотой, с нищетой, с бо­лезнями борись. Так нет же! Для этого нужно что-то знать, уметь, трудиться надо. А он ничего не знает и не умеет. И не будет никогда ничего знать и уметь, потому что не тем он за­нят. Зачем ему трудиться? И какая нужна наука, чтобы людей изводить, тех, кто думает не так, как он? Это ещё сейчас ему приходится спорить да доказывать. А раньше у таких дру­гой аргумент был: десять лет и не чешись...

- Это точно, - согласился Валерка. - Шпик настоящий! Связы­ваться с дерьмом не хочется...

- Ладно, Бармалейчик, не расстраивайся! - обняла его Зинка. - А то дойдёшь, вон как Гринин, - девки не будут лю­бить. По ночам спать не будешь... Из-за чего, Кольк, бессонница-то на тебя напала, ты говорил? Я уж забыла. За пи­сателей каких-то, что ль, они с Колбешкиным ругались... До четырёх часов, говорит, заснуть не мог, это надо же!

- Да, это верно. Только не ругались, а спорили.

- Один чёрт.

- Совсем разные черти... Колбешкин меня тогда прямо подко­сил. Я ему: люди не нарушали никаких законов. А он: надо, говорит, карать преступников прежде, чем они подумают совершить преступление…

- Нашел, кого защищать, проходимцев каких-то. Известно, продались за деньги, таких не только что сажать, убивать мало. Хорошего человека завсегда пожалеют. Вон мой отец, бывало, нам говорил: из меня в лагере человека сделали! А почему? Сразу увидели, что он за человек, в самоохрану взяли. Так в вохре весь срок и отбывал, среди порядочных людей…

- А-а! Плевать я на все хотел! – заорал Бармалей. – И-эх. Я ее целовал, уходя на рабо-о-оту! - и он навалился на смеющуюся Зинку.

- Эх-ма, хоть за молодого да здоровенного подержаться! Надоел свой скелет-то!

- Давай я к тебе сегодня в гости приду. Мужик-то, небось, двадцать четыре часа в сутки работает, всё гарнитур отраба­тывает?

- Гарнитур уже отработан. Я сейчас мечтаю ковёр купить. У майора, соседа моего (вот про которого говорили-то), вот ковёр! ну ковёр! с ума можно сойти... Вот купи мне, Бармалей, такой и приходи в любое время дня и ночи.

- Я сам смотрю, с кого бы что-нибудь слупить. А уж с тобой-то мы бы договорились: бутылку ставь - и в расчёте.

- Да, с тобой свяжись, ты наделаешь делов. Недаром мне сегодня какой сон приснился. Вот послушай. Будто в роддоме я. И, значит, родила. Вот я родила, интересно мне посмотреть - кого. Покажите мне, прошу, кто хоть родился-то! А сестра (мо­лоденькая такая!): сейчас, говорит, сейчас покажем. И доста­ёт она откуда-то с-под низу и протягивает мне... Знаете, в деревне раньше чугунки такие были, ухватом их в печку ставили? Вот такой чёрный чугунок достаёт. За-коп-чё-ный весь! И полон, ну прямо с верхом, пшённой каши. И к чему бы это, прямо ума не приложу...

- Это к тому, - объяснил ей Валерка, - что вместо мяса целый год пшённую кашу будешь есть. Пока мужик будет на двух рабо­тах ковёр отрабатывать

- Эй, господин Галямин! - гаркнул он во всю глотку в сторону токаря. - Остановил бы свой драндулет, дал бы хоть ему от­дохнуть!.. 3а сорок лет человек никак не наработается.

- Привык пятилетки выжимать за четыре года, - объяснил Семыкин.

А Гринин заметил:

- Может, у человека крылья выросли к празднику.

- Ага. У тебя вон тоже, видать, крылья выпирают, - Валер­ка хлопнул Гринина по выступающим лопаткам. - Во уже какие!

Токарный станок перестал скулить. Из-за выступа стены вышел господин Галямин, дядя Вася, старик под шестьдесят. Очень он был похож на синьора рыцаря Печального Образа, такой же высокий и тощий; что называется, грудь у человека впалая, зато спина колесом. Дядя Вася вышел и сказал:

- Всё счастье в труде!

- Господин Галямин - Советский Союз! Триста пятьдесят ло­шадиных сил, - представил его Бармалей.

- Кто скажет, сколько там намотало? - спросил господин Га­лямин. - Надо наши кремлёвские часы проверить. А то давеча Захарыч следствие наводил: говорит, кто-то их нарочно вперёд подводит.

Он передвинул пальцем стрелки на висевших на стене ста­рых ходиках и подтянул цепочку с привязанным на конце прово­локой болтом. Потом господин Галямин закурил и, по обыкновению, закашлялся. Что-то поднималось у него в груди и с полпути па­дало назад. Покончив с кашлем, он утвердился на тёти Фросином ведре для мусора, покрытом куском фанеры, уронил локти на свои костистые колени и повёл такую речь:

- Я слышал, Колбешкин тут говорил: все, мол, начальника­ми могут быть, учиться надо. А вот помню - кхе-кхе-кха! ммм, тьфу! - в двадцатых ещё годах мне один дурачок (он мастером у нас работал) говорил: сегодня, Вася, я командую, а завтра я тебе скажу: давай я за твой станок встану, а ты иди в мой ка­бинет. Да. Вот я теперь думаю: я всё жду-жду, гнусь как бы­чий хвост. Скоро и сандалии отброшу. А он так ко мне и не пришёл. Видел я его. Морду отрастил - во какую! Всю жизнь так ничего и не делал. Да. Выходит, каждый сверчок на своём шестке так и сидит.

К концу своего монолога синьор Печальный Образ дышал так, точно он только что вышел из очередной своей рыцарской переделки.

- Да, - вздохнул Валерка. - Хорошо бы хоть денёк побыть сво­им слугой...

- А всё-таки ты, Кольк, не прав со своими червяками! - вдруг решительно заговорил пребывавший до этого в задумчи­вости Семыкин. - Никогда этого не будет, чтоб все люди стали, как твой Джордан. Наоборот! Стоит хоть одному подлецу меж таких честных найтиться, и он беспременно станет над ними начальником и всех в бараний рог скрутит. И вперегонки побе­гут все к нему со своей совестью. Возьми, скажут, её заради бога, только дай пожить! А если ишшо какой Джордан заведется - сами же его опять и спалят! Как пить дать...

- Точно! - подтвердил и Бармалей. - Поищи-ка, Гриня, дураков в другом месте, чтоб трепотню твою слушали! Правильно Чишо про тебя говорит: хнилая твоя хвилосохвия! - И он нахлобучил на глаза Гринину его берет.

Впрочем, это был и не берет, а кепка с оторванным козырь­ком. Козырёк был оторван нарочно, чтобы не мешал при работе.

9

Тихон Захарович протянул вошедшему в его кабинет Колбешкину пачку газет:

- На возьми, ты просил. Вон тут сколько забастовок: и в Англии, и в Германии, и в самоёй Америке! У тебя как тема-то называется?

- Рост забастовочного движения в капиталистических стра­нах, - объяснил Колбешкин. - Вообще-то надо осветить бедственное положение трудящихся. Я думаю поговорить о забастовках..,

- Вполне понятно, вполне понятно, - одобрил Тихон Захаро­вич. - Сама логика подсказывает: если бы хорошо людям жилось, зачем же им бастовать? Вполне понятно.

Тема ему была знакома: сам лет двадцать назад не раз доклады делал: «Обнищание трудящихся масс в странах капитала». Двадцать лет назад! Можно себе представить, что сейчас у них там творится. Как опытный старший товарищ, всегда готовый прийти на помощь товарищу молодому, делающему первые шаги, Тихон Захарович посоветовал Эрнсту отразить ещё и бесправие трудового народа в капиталистическом мире. Он обратил его внимание на интересную статью в одной из газет; в ней рассказывалось, как безжалостно расправляется буржуазный суд с голодным человеком, укравшим булку хлеба, чтобы не умереть с голоду, и каким почётом пользуются бизнесмены, хапающие миллионы долларов…

До чего же приятно было Тихону Захаровичу поговорить обо всём этом с Колбешкиным! Ну почему, почему люди не пой­мут, как интересно жить полнокровной жизнью?! Думать не только о своих шкурных интересах, но и болеть за всё, что делается в мире. И главное, не только болеть, а и переделывать этот мир! А то ведь пройдёт жизнь - и вспомнить человеку будет нечего, и будет жечь позор за бесцельно прожитые годы. Так ведь, кажется, написано? Как это верно!

Потом Эрнст совершенно справедливо заметил: как всё-та­ки плохо, что не выписали газет на наш участок! В обед можно было бы людям почитать ту или иную статью. Ведь сколько интересных событий происходит сейчас в мире! А у нас никому ни до чего дела нет. И лекций совсем не бывает. А почему бы не рассказать народу, например, о международном положении или (Колбешкин вспомнил фанатичные выпады тёти Фроси) на антирелигиозную тему. И ни-ка-кой подготовки к великому празднику, пятидеся­тилетию Октября не чувствуется! Ни лозунгов новых не повесили, ни, опять же, лекций по этому случаю не провели. Даже стенгазету не могли выпустить. Недостаточно всё-таки партком работает.

Вот это деловая критика! Не то что некоторые другие, только и умеют, что гнилой демагогией заниматься: газеты не нужны, лекции не нужны, соревнование не нужно! А что же тогда нужно, спрашивается? Вот заглохло соревнование (сколько за каждым ходил! Соцобязательство никто не может написать!), и неслучайно и число прогулов повысилось, и другие нарушения трудовой дисциплины участились.

Тихон Захарович с удовольствием с Колбешкиным согласился. Откровенно говоря, сказал он, теперешний парторг ему и самому не нравится. Кому другому – беспартийному - он этого не сказал бы, но Эрнсту - можно. Засел в своём кабинет, даром что в конторе работников много, бегают без конца по цехам да вызывают к нему, с кем он поговорить захочет. Вот здесь как-то и к Тихону Захаровичу с грузчиком записку прислал: зайди, мол, срочно. Бросил Чишо наряды, поехал, думал, что доброе скажет. А он: у тебя, говорит, плакат висит «Дверь во все­ленную открыта!». Так ты либо сними, либо прикажи уборщице пыль с него смахнуть. А то нехорошо как-то получается, некрасиво: столько на нём копоти налипло, что не разберёшь, кто Леонов, а кто Беляев... Вот даёт! Как будто сам не мог уборщице дать указание! С народом совсем не работает...

Раз уж разговор зашёл о народе, Колбешкин спросил, по­чему сегодня народ сидит, ничего не делает. И опять же, с удо­вольствием объяснил ему Тихон Захарович, что в плановом от­деле у нас дураки окопались, а отдел снабжения раскачивается по десять дней. Первое число на носу - и месяц-то какой! - а у него ещё ни плана, ни металла нет. Потому и людей он не мо­жет загрузить...

Как бальзам какой пролился на душу Тихона Захаровича от этой беседы с симпатичным ему парнем. Нет, не даром была про­жита жизнь! Есть кому передать дело, вот таким, как Колбеш­кин, и принадлежит будущее.

Тёплое, отеческое чувство испытывал к Эрнсту Чишо. Он так к нему и обращался: "Эра-сынок!" (А эта пьянь, по обы­кновению, всё изгадила: стали Колбешкина просто "сынком" звать. «Сынок, на троих будешь?» или: «А у Колбешкина-сынка трояка нет?»).

Охаяли Сталина-то (правда, в последнее время спохватились), а при нем внимательнее к людям-то относились. Ведь в са­мом деле, садовнический был подход, буквально выхаживали до­брые-то ростки. Не секрет, что зачастую хорошее бывает скрыто под на­ружным слоем грязи. Заметить, развить в людях это хорошее - и есть, по существу, главное в работе с кадрами. И его самого так же вы­растили, и он, в свою очередь, многим из молодых путёвку в жизнь оформил.

И какие верные и точные слова раньше находили! Именно, са-дов-ни-чес-кий! А разве можно вырастить хоть что-нибудь путное, если безжалостно не вырывать всё дурное, чуждое нам? Только так и может делать добрый садовод. А последнее время ослабили борьбу. Вот результат и не замедлил сказаться: эвон сколько чертополоха различного расплодилось! Империалисты, они не дрем­лют...

От этих - в общем-то приятных - мыслей Тихона Захаровича отвлёк всё нарастающий шум, донесшийся до него из-за дверей его каморки, которую он упорно именовал кабинетом. Похоже, дрались. Эх, надо было бы уехать в управление! Ви­дел ведь, что начинается пьянка.

Шум всё нарастал... Чишо вынул новую сигарету, дёргаю­щимися пальцами достал и не сразу зажёг спичку и вышел за по­рог своего кабинета...

10

Колбешкин вернулся от мастера тоже в хорошем настроении. Он убрал газеты в раздевальный шкаф и взялся опять за напильник, мурлыча себе под нос:

«И маманя Груня,

И папаня Груня,

А я вырасту большой -

Тоже буду Груня...»

В это время входная дверь в дальнем конце цеха распахну­лась, и с улицы вошло несколько рабочих, основательно пьяных. Впереди, пошатываясь, шествовал Шмаков.

- A вот и господа якуты пожаловали, - прокомментировал их по­явление Валерка. - Чуть тёпленькие.

- Как якуты? - спросила Зинка.

- Это я их якутами прозвал, - объяснил Гринин. - Рань­ше, пишут, русские купцы всё спаивали тёмных якутов: дорогую пушнину скупали у них за плохую водку. Вот и эти, другой ва­люты, кроме кислянки, не знают. Да и подобрались они все какие-то мелкие, широкоскулые… Привет Якутской аэсэсэр! - обратился он к вошедшим. - Как дела в Оймяконе?

- Порядок! - бодро ответил один из вошедших. – Всю дорогу - сорок градусов.

- А сегодня и все шестьдесят будет, - добавил Сашка. - Эй, Бармалей, пить будешь? И тебе есть, - он ткнул пальцем в сторону Семыкина. - Напою вас всех сегодня до усеру! А тебе - фигу! (Это относилось к Гринину) Ты чай пьёшь... Книжки читай!

Блаженно улыбающиеся «якуты» рассаживались кто где. А Сашка, взгромоздившись на верстак возле тисков Колбешкина, достал изрядный кусок колбасы и, зажав его в кулаке, принял­ся закусывать. Он тряс перед собой этой колбасой, что не за­медлило вызвать оживлённый обмен подходящими шутливыми заме­чаниями по поводу её вида и размеров между ним и Зинкой.

Сашка сидел так близко, что мешал разохотившемуся Колбешкину работать.

- Топали бы вы отсюда, - сердито сказал тот. - Сами не ра­ботаете и другим не даёте!

- Пошёл-ка ты со своей работой... специалист дерьмовый! - неделикатно ответил Шмаков. - Ишь! Опять с Чишо рационализацию на нашу голову выдумали. Хоть бы польза какая была, а то лишь бы родимый завод ограбить. Лёшка, бывало, штамп сделает - десять лет стоит! А твои всё равно через неделю выбросить. Хорошего слесаря выжил, а ведь сам плевка его не стоит! «Маманя Груня» фигова!

- Ты говори, да не заговаривайся! - Колбешкин от обиды даже слегка покраснел.

Надо же придумать такую чепуху: он выжил этого пьяницу Кароскина! Специалист тот, верно, был первостатейный. Всё, чему успел научиться за этот год Колбешкин, он перенял у Кароскина. Ну и что же? Кто виноват, что человек совсем опустился? Ведь по нескольку дней посде каждого аванса и по­лучки на работу не выходил! Есть же всему предел. Начальству, понятно, это надоело, вызвало оно Колбешкина, спросило: справишься? Не о себе думал Эрнст, а о пользе дела, когда сказал, что справится и один. Потому что было надо.

Ну Кароскина и уволили, сам виноват...

- И нечего тут мусорить! - Колбешкин подгрёб под Сашку кожу от колбасы, которую тот сдирал зубами и сплёвывал на верстак. - Двигайся давай, - и он упёрся в Сашку напильником.

Шмаков плюхнулся с верстака. Лицо его потемнело и, раз­махнувшись, он запустил огрызком своей колбасы (большой ещё кусок оставался) в голову Колбешкину. Тот бросил напильники стал быстро и метко бить Сашку по лицу. Ни один удар его не прошел мимо, потому что уж очень Сашка был пьян и не успевал заслоняться. Да к тому же, Эрнст недаром приемы самбо в милиции отрабатывал.

Прежде чем кто-нибудь из рабочих успел подбежать к месту побоища, Шмаков валялся на цементном полу и Колбеш­кин пинал его ногами. Правда, бил он его гуманно, жалеючи, не мыском ботинка (так можно было бы зубы или глаз выбить либо голову проломить), а подъёмом, чтобы просто в чувство человека привести.

Наконец Гринину с Семыкиным удалось оттащить рассвире­певшего Колбешкина.

- А ты как думал?! – скалясь по звериному, кричал тот.

Тяжёлые, бульдожьи черты неузнаваемо исказили его плакатное лицо.

- А ты как думал? Тебя по левой - подставляй правую? Это не по-нашему будет! А ещё полезет - молотком баш­ку проломлю!

Поднявшийся с полу Шмаков хватал все попадающиеся ему в руки железяки и рвался к Колбешкину. Губы у него были окро­вавлены, а под глазом сочилась ссадина, видно об асфальт стесал, как упал.

- Ну ладно, гад! За мной будет, - прохрипел он, не раз­жимая зубов, и, сплюнув кровавую слюну, быстро пошёл в угол, на своё рабочее место; потом остановился и погрозил Эрнсту пальцем. - Будь я гад - зарежу как барана!

В это время, бледный от омерзения, появился Чишо, и, первым делом, он набросился на несчастныхякутов.

- Опять хвокусы! - Чишо так и не смог отделаться от свое­го деревенского произношения; он и доклады делал - говорил: «Вот некоторые цихвры и хвакты». - Я вас спрашиваю: кто вам дал право нарушать трудовую дисциплину? Вы мне план сорвываете!

- Захарыч! Всё будет сделано, - бормотали «якуты», прижимая руки к груди.

- Всё! Хватит с вами нянчиться! Что я вам, мастер, чи шо?

- Захарыч! Нагоним! – лопотали «якуты».

- У меня маляры сидят, мне завтра продукцию сдавать, а они мне пьянку затеяли! – сверкал очами Тихон Захарович. - Вам тут что - проходной двор, чи шо?

Из-за клубов дыма от электросварки, как из какой мглы, стали появляться еще новые рабочие, некоторые были уже под крепкой булдой и еле держались не ногах. Все разом загалдели. Сами собой вспоминались старые обиды и счёты. Древние, трухлявые стены барака сотряслись от взаимных угроз и ругательств, сжались кулаки, оскалились зубы. И трудно стало разобрать, кто с кем дерётся и кто кого унимает.

Среди подошедших был друг Колбешкина, они ещё на секретных тоннелях вместе работали. А сегодня утром Эрнст с ним да ещё с одним парнем бутылку втроём раздавили. Колбешкин отстал, а друг еще два раза по стакану трахнул. И вот теперь он обводил всех мутным взглядом, силясь что-то произнести. Но, то ли язык его не слушался, то ли фантазия у него внезап­но иссякла, речь его свелась к тому, что он бесперечь показывал не разгибавшимся до конца указательным пальцем на Колбешкина, по­том всем по очереди этим же пальцем строго грозил и, запи­наясь, повторял только одно слово:

- У... убью…у...у...убью…y... у... у...убью…

Несмотря на столь серьёзное предупреждение, Бармалей все-таки лез на Колбешкина с явной целью сделать из того блин, и Гринину с помощью Семыкина с трудом удавалось его удерживать.

- Вот Кольке спасибо скажи! - кричал Бармалей. - А то бы так тебе врезал - век бы меня помнил! Гаврила фигова!

Колбешкин, с остервенением принявшийся опять за напильник, весь побагровел.

- А ну, попробуй! - орал он. - Узнаешь, что будет. Я тебя ту­да загоню, откуда не скоро воротишься!

А Сашка подошёл к ножницам и рванул рубильник.

Как ошпаренные, взвыли гильотины.

- Это не иначе, у него кусок пилы был, и он, видать, из него хочет нож вырезать, - высказал предположение Семыкин.

- Господи! Ну как звери в тёмном лесу, - бормотала тётя Фрося. - Как звери!... Отняли! Отняли у людей бога, больше нет ничего!..

Дядя Вася ушёл в свой угол и включил станок; потом монул головой, сплюнул и изрек:

- Да, настроение бодрое - идём ко дну...

Громыхали ножницы. И, чтобы перекричать их и друг дру­га, все незаметно для себя стали ещё сильней напрягать глотки.

Сашкин малец (Нинка, собравшаяся было уходить, прибежала с ним сюда на шум) обводил всех сияющим взгля­дом, дождавшись, наконец, вожделенного представления. Под громыхание гильотин, под матершинную ругань рабочих, прыгая с одной ноги на другую, он отплясывал свой первобытный танец.

1968г

.

РЕЧИ Г-НА ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КОТЛЯРЕВСКОГО  
НА ДОПРОСЕ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА

#### апрель 1887 года

Уложив в портфель листы с показаниями Ульянова, Михаил Михайлович аккуратно пристроил на место ручку, бережно при­крыл крышечкой чернильницу и, мягко глядя на сидевшего про­тив него злоумышленника, сказал:

- А теперь, дорогой Александр Ильич, вы позвольте мне побеседовать с Вами, так сказать, приватным образом.

- Не много ли мне будет чести? - криво усмехнулся тот. - Да и дела встанут. Начальство, небось, вас по головке за это не погладит. Этак и карьера пострадать может.

- Э-э, что карьера? Всё, что мог, я уже совершил, - как сказал поэт. Своею карьерой я вполне доволен. А что касается дел, то спешить нам с вами некуда, ибо, скажу Вам откровен­но, с окончанием наших с Вами дел Вам вряд ли придётся ка­кими-нибудь другими делами заниматься... Ну разумеется, ес­ли Вы осознаете всю глубину своей вины перед государем им­ператором и испросите у него...

- Не продолжайте, это ни к чему.

- Я верю в Вашу непоколебимость и - смею Вас уверить - уважаю её! И вообще, Александр Ильич, во время нашего несчастного с Вами знакомства я всё более и более проникался к Вам... Даже и не уважением, а - как бы это получше выразить?.. Право же слово, я Вас полюбил. Как сына! Вы ведь ещё так молоды! Я вижу, по Вашему лицу разлилось недоверие и даже насмешка. Очень понимаю! Вы уверены, что эти мои слова – всего лишь коварный ход с моей стороны. Но, прошу Вас, поверьте моей искренности: меньше всего в эту минуту мне хочется быть Вашим следователем! Да и рассудите: ну зачем мне перед Вами хитрить? Дело Ваше - совершенно ясное; себя Вы, видимо, вы­гораживать не собираетесь, даже, скорее, наоборот; и фактов, Вас касающихся, более чем достаточно обозначилось, чтобы суд вынес Вам самый суровый приговор...

- Ну хорошо. Так что же Вам от меня надо?

- От Вас - ничего... Я о себе, Александр Ильич, хлопочу-с. Мне бы, видите ж, для целостности моего миросо­зерцания хотелось бы кое-что уяснить и, так сказать, увязать.

- Хм! Вот уж никогда не думал, что прокуроры могут хлопотать о таких вещах... Миросозерцание! К чему оно Вам? В своё время до Вашего сведения доведут вышестоящие инстанции...

- Не надо, Александр Ильич! - Михаил Михайлович сморщил­ся, словно от боли. - Голубчик, не надо! Пусть Вы с вашими друзьями и правы относительно нашего прокурорского сословия, что считаете его тупым и ограниченным. Но я не от его имени сейчас с Вами говорю. С Вами хочет поговорить по душам про­сто че-ло-век. Ведь я, как и Вы, был студентом Санкт-Петер­бургского университета, разве же у нас с Вами не может быть ничего общего? В шестидесятые годы мы тоже мно-о-ого всяких глупостей делали. До бомб, правда, дело не доходило, а всё, бывало, протесты подписывали против ограбления крестьян и произвола властей... Молодость!.. Ну-с, и наконец, насколько я Вас смог за это время понять, вам ведь не чуждо евангельское «все люди — братья»?

- А Вам, что же? Чуждо?

- Не-е-ет, конечно... Ммм...

- а коли так, то мне вот непонятно: если Вы считаете ме­ня своим братом, почему бы Вам не выпустить меня из этого узилища? Или бы сами сели со мной в камеру, чтобы умягчить мои страдания.

- Хе-хе! Слабость человеческая, - виновато развёл руками Михаил Михайлович. – Homo sum…А впрочем, и не в одной сла­бости дело.

- А в чём же, уж позвольте тогда полюбопытствовать?

- А вот об этом, дорогой Александр Ильич, я и желал с Вами побеседовать. Извольте видеть, я со всеми Вашими прия­телями более или менее коротко познакомился. Должен Вам ска­зать: я ожидал увидеть людей более оригинальных. Я имею в виду духовный и умственный склад их личностей. Может быть, это люди какой-то особой породы, и я не в состоянии их понять? Ведь всякий, в конце концов, судит по себе. Я как прикидываю: ведь чтобы решиться на такое дело - убить человека (не царя - Бог уж с ним! - а че-ло-ве-ка!) - надо ведь какую душевную драму пережить! И тем более, ежели собираешься убивать не корысти ради, а по идейным, как принято в Вашем кругу выра­жаться, соображениям. А я ни в одном из Ваших приятелей ника­ких даже намёков на следы таких переживаний и размышлений не заметил. Так только, обрывки чужих идей, затрёпанных слов: социализм, политическая свобода, право на продукты труда... Нет, я не спорю: всё это хорошие слова! Но они ведь другими придуманы! А Ваши друзья повторяют их, как школяры затвержен­ный урок. Не могут люди из души чужими словами выражаться! Впрочем, не спорю: в истинность их они свято верят и, вероят­но, как и Вы, не дрогнув, взойдут за них на эшафот...

- Это тоже чего-нибудь да стоит...

- Э-э, Александр Ильич! Ничего это не стоит, поверьте мне! «Житие протопопа Аввакума» изволили читать? Какие муки принял человек! И чего ради? Чтобы креститься двумя перстами да вокруг купели ходить «посолонь»! Для нас с вами, образо­ванных людей, ведь это смешно! А последователи его - ещё хле­ще: сами себя сжигали, и притом в пламени бестрепетно псалмы распевали! Ведь Вам их всё равно не переплюнуть... Что же, прикажите мне любому бреду поверить только потому, что кто-то на нём с ума свихнулся?.. Нет, уж лучше Вы один извольте в тем­нице пребывать! И я Вас из этой темницы не выпущу, и не буду кричать с Вами заодно «свобода, равенство, братство!» Ибо не вижу для этого никаких причин; никаких доводов рассудка или соображений морали, не могу в пользу такого решения привести. Ведь Ваши приятели, почему они так тверды-то? Только потому, что не привыкли ни о чём думать. Им-то кажется, что они страш­ные ниспровергатели, революционеры. А я Вам скажу: мракобе­сы они и рутинёры! Разве в том состоит коренное-то отличие революционера от реакционера, что один говорит: хороша со­циальная республика, а другой - хорошо самодержавие? Мне ка­жется, сущность и первоисточник революционности в складе ума сосредоточены. Такой человек перво-наперво не будет свой ум всякими рогатками огораживать: сюда иди – а сюда нельзя, это хорошо, а это плохо. Он должен уметь рассуждать так, словно только вчера на свет родился и слов­но никого на этом свете до него не было. Как такого человека не называй, а только он способен что-то новое людям сказать. Вот, к примеру, миллион прогрессистов, глядя на не­бо, само собой разумеющимся считали, что солнце вокруг Зем­ли ходит, а нашёлся монах Коперник, усомнился в этом. Вот он и есть истинный революционер...

- Вы ломитесь в открытую дверь: никто и не сомневается, что в науке Коперник - один из величайших революционе­ров.

- Но Вы же согласны, Александр Ильич, что он удостоился даже и от Вас такого высокого призвания по причине упомяну­тых мной качеств ума?

- Безусловно. Никакой учёный не может работать без критических способностей ума.

- Ну а в политике этими способностями, значит, не обя­зательно, что ли, надо обладать?

- Нет, почему же. И в политике они нужны. Но в полити­ке их одних мало.

- Позвольте, позвольте! Это что же получается: чтобы проникнуть в тайну мироздания, достаточно способности крити­чески мыслить, а чтобы додуматься до решения общественных вопросов посредством бомб, ещё что-то требуетcя!

- Коперник, Вы правильно заметили, чтобы проникнуть в тайны мироздания, как Вы выражаетесь, должен был освободить­ся от современных ему научных предрассудков, а над людьми тя­готеют и иные, неизмеримо более упорные.

- Да полно Вам! Предрассудок и есть предрассудок, где бы он ни гнездился: в науке ли, в общественной ли жизни, или в морали. И - уж не обидьтесь! - не Вам с Вашими друзьями коперников учить, как им через эти иные предрас­судки переступить... Я, впрочем, припоминаю, нечто в этом роде у Чернышевского было написано. Ну да, помнится, он Гельмгольца поучал, как надо открытые тем физические за­коны понимать. Да и вообще, не твоё, говорит, это, голубчик, дело - на паркетах чистой мысли вальсировать. Занимайся-де своим ремеслом, а паркеты нам, широко мыслящим личностям, предоставь, Не срамись, мол…Умный да знающий человек всё мнётся да сомневается, а этим господам, свободным от пред­рассудков, всё заранее известно. Странно только, что в люд­ской памяти ограниченный Гельмгольц да толкователь библей­ских пророчеств Ньютон навеки остаются, а господа, их поучав­шие, оказываются сидящими в луже. Вот и Ваши друзья, считаю­щие себя революционерами, не только отдельные - может быть и хорошие - мысли принимают на веру, а целые, так сказать, ан­самбли мыслей, как уж порешили их считать правильными, так и шабаш! Глотку перервут всем, кто хоть малейшее сомнение выскажет. Почище любого квартального надзирателя...

- Что бы это Вы могли иметь в виду?

- Да вот, к примеру, хотя бы взять Ваш краеугольный ка­мень, социализм. Мы - за социализм! Ура, социализм! А поче­му, спрашивается, я должен ликовать по поводу этого самого социализма? Для меня совсем не ясно, что социализм это хоро­шо. Мало того. Смею Вас уверить, я нисколько не сомневаюсь, что Ваш социализм, если он только когда-нибудь воплотится в жизнь (что тоже надо ещё доказать), - это дурная вещь.

- Вам никто не может мешать иметь о социализме такое мнение. Почему же Вы нам не позволяете иметь наше и говорить о нём народу? Пусть бы сам народ и решил, что ему больше подходит - самодержавие или социальная республика.

- Эх, Александр Ильич, Александр Ильич! И Вы так увере­ны, что этот самый народ будет вас слушать?

- А если Вы уверены, что не будет, так отчего же Вы нам не позволяли с ним об этом говорить?

- А для вашей же сохранности и не позволяли, если Вам угодно знать. Чтобы разбуженный вами народ вашу же alma mater не разнёс в щепы. Вот Ваши друзья никак не мо­гут... Не морщитесь, пожалуйста, Александр Ильич! Я очень понимаю Вашу скромность и ценю её. Я вижу, как Вам неприят­но моё частое противопоставление Вас Вашим друзьям. Понимаю и ценю. Но! Но простите меня, что же у Вас общего ну хотя бы с Осипановым? Вы знаете, какую он штуку отмочил при аре­сте? Вам не рассказывали?.. Эк, всё-то у нас скрыть норовят! Так слушайте и, если можете, восхищайтесь! Когда друга Ва­шего задержали первого марта на Невском...

- Я мало с ним знаком…Хотя, впрочем, и за время нашего короткого знакомства успел проникнуться к нему глубоким ува­жением.

- Ах, поверьте, я не собираюсь заносить Ваших слов о знакомстве с Осипановым в протокол!.. Так вот, когда этого замечательного человека привели в участок, он бросил на пол свой метательный снаряд. Полицейским чинам, к сожалению, не пришло в голову, что книга в его руках и была этим снарядом. (Это вы, между прочим, очень остроумно изволили придумать: «Медицинский справочник», а в нём - динамит и отравленные стрихнином пули, хе-хе-хе! Ужо прокурор Вам за это на суде покажет!) К счастью, по независящим от Осипанова причинам снаряд не разорвался. А если бы взрыв произошёл? Убило бы трёх уж совершенно неповинных людей: двух полицейских из того самого народа, о котором вы хлопочете, и пожилого ка­питана, обременённого большой семьёй, малолетними детьми. Вот я Вас теперь спрошу, скажите мне чистосердечно, Александр Ильич, Вы бы могли вот этак не задумываясь, экспром­том отправить трёх неповинных людей на тот свет, осиротить малых детей?.. Впрочем, я допускаю, что Вы ответите, что в пылу борьбы... И так далее. Ну допустим. Но вот борьба по­зади, прошёл месяц; разве не зашевелится в Вашей душе со­жаление о загубленных ни за что-ни про что людях? А вот Осипанов никаких сожалений не испытывает. Чего там - сожа­лений! Он считает этот поступок верхом благородства и если о чём и сожалеет, то только о том, что не разнёс вдрызг весь участок. Потребовал, чтобы в протокол было занесено, что он сделал всё, что было необходимо для взрыва снаряда. А в сво­ей собственноручной записке, явно адресованной потомству, он заявляет, что этим взрывом он надеялся помочь товарищам хотя бы на день замести следы. И уж во всяком случае, прикинул я (так он пишет), повредить делу этот взрыв никак не мог. Чувствуйте, мол, все величие моего духа! Ничего не жалею для пользы дела! И гляжу я на всё только с точки зрения интере­сов дела: ежели делу на пользу, что мне стоит убить трёх, де­сятерых, сотню человек! И это человек ещё в начале своего пу­ти служения человечеству. А аппетит-то, известно, во время еды приходит: дай ему развернуться как следует, так он на ты­сячи счёт поведёт. Ну, как же не герой!.. Но Вы-то, Вы-то, Александр Ильич, ведь не можете не понимать, что человек этот потому так легко разбрасывается чужими жизнями и не дорожит своей, что не знает настоящей-то цены жизни человеческой, а не потому, чтобы уж очень человечество любил. Уж конечно ему и в голову не приходило спросить себя: а имею ли я право уби­вать отца, сына, мужа; лишать жизни личность с целой кучей чувств, мыслей, привязанностей, которые даруются человеку еди­ножды и больше ни в ком и никогда не повторяются!..Ну ладно, будем считать вслед за Осипановым, что жизнь полицейских аген­тов не дорого стоит. Но он ведь вместе с ними готов убить и всё их потомство, которое не появится на свет. А ведь, кто его знает, может, среди них русские невтоны и платоны нам явились бы. Я поразмыслил, говорит Осипанов, что убивая двух агентов, Тимофеева и Варламова, помогу скрыться моим товари­щам. Слышали? Агентов! Он и себя считает агентом, только не полиции, а партии. А какая разница, позвольте Вас спросить?

Ну попробуй заведи я с Осипановым такой разговор, в ответ ни­чего, кроме снисходительной улыбки, не дождёшься. А для Вас, Александр Ильич, эти мысли не праздные, я уверен. Вот почему мне и захотелось с Вами потолковать. Я бы с громаднейшим ин­тересом выслушал Ваше мнение касательно многих вопросов, ибо сознаюсь: Вы для меня загадка. Не могу я уразуметь, что Вас-то могло подвигнуть на такой шаг. Что бы Вы на себя ни наговаривали, а Вы по другую сторону черты от осипановых на­ходитесь. Чувствую, что Вашими поступками руководят не поли­тические соображения агента партии, или вернее, не столько они. Такие люди, как Вы, одни составляют свою партию. Ведь для Вас моральные проблемы не могут стоять не на первом ме­сте. Не подумайте, что я хочу к Вам подольститься, но ведь это про таких, как Вы, писатель Достоевский говорил,что им главное - идею разрешить (каждый идею по-своему выбирает). Кстати, Вы вон и о Достоевском с похвалой отзываетесь.

- Да, я люблю Достоевского.

- Как же так? Ведь для Ваших друзей Достоевский - реакци­онер и мракобес. Они всерьёз считают, что их пророки, Черны­шевский да Писарев, Достоевского по всем статьям превзошли. Им кажется, что эти господа что-то страшно новое сказали, да к тому же ещё, разумеется, революционное, то есть по­рывающее с рутиной, делающее людей свободней. Но ведь Вы-то, раз Достоевского чтите, не можете Вы не понимать, что теории их - сплошное убожество. И что в них революционного? То, что они без конца о прогрессе толкуют, о всеобщем благоденствии? Всё, дескать, на алтарь этого благоденствия должно быть принесено, а сам по себе, выходит, человек никакой цены не имеет; ежели ты способствуешь этому самому прогрессу - значит, живи, не способствуешь - не взыщи: жить тебе незачем. Достоевский вон всеобщую гармонию не хочет признать, раз в её основание хоть единственная человеческая жизнь положена, а эти на костях готовы плясать по окончании строительства своего светлого здания. А что за жизнь ожидает будущих его обитателей! Даже если верить их же фантазиям, что все они тогда сбудутся, ведь это же со скуки свихнёшься! Опять всё прогресс да всеобщее благосостояние…

- Извините, я что-то не могу постичь причину вашего раз­дражения по поводу всеобщего благоденствия: что же в желании людей его достичь плохого?

- Да Бог с Вами, Александр Ильич! Разве я против этого благородного желания восстаю? Что ж я, изверг разве какой, чтобы и самому всеобщего благоденствия не хотеть: ведь раз оно будет всеобщее, так значит и моё, и твоё, и его. А сейчас-то много ли мы благоденствующих людей видим? Все недовольны: этому оклад мал, тому чужая жена больше своей нра­вится, третьему свободу подай, четвёртый ропщет: много людям воли дают. А ваши пророки все эти неурядицы в своём будущем обществе уже сейчас разрешили, даже с жёнами никаких недоразумений там не будет... А вот какой ценой и какими путями его достичь собираются - вопрос. Когда мне говорят, что для этого надо побыстрей двух агентов полиции ухлопать да заод­но и всех, кто у прогрессивных людей под ногами путается, я поневоле, знаете, настораживаюсь: ухлопают одних – другие враги появятся, и их надо будет устранять. И на этом пути у прогрессивных людей никаких ведь моральных препон быть не может, ибо пророки говорят: всеобщее благоденствие – все, а благоденствие отдельного человека - ничто.

- Ну почему же - ничто?..

- Ну а как же иначе-то может быть, Александр Ильич? Ведь раз одно с другим связано и про одно говорят, что оно - всё, то что же на долю другого-то остаётся? Кукиш с маком, извините за выражение. Вы, конечно, с этой математикой не со­гласитесь. По-Вашему: первое - всё, а второе тоже кое-что. Пусть бы и так, но ведь это кое-что-то Осипанов будет опре­делять. А раз он себя не жалеет, пожалеет он меня, букаш­ку жалкую, да ещё, с его точки зрения, и безусловно вредную! И кто хоть немного с историей знаком, разве может он сомневаться, что до всеобщего-то благоденствия так черёд и не дойдёт: завязнут пророки в бесконечных устранениях его вра­гов. Ведь и гильотина была сооружена во имя торжества добро­детели. Заметьте: это ещё я ваших пророков искренними людь­ми считаю. А кто же может поручиться, что среди них не будет людей недобросовестных, которые все эти теории для своей пользы повернут...

- Вы, господин прокурор, знаете, что правители любые теории для своей пользы приспособить могут: не помешала же христи­анская религия с её «не убий!» существованию инквизиции.

- Да, так-то оно так: люди что угодно переврать могут?.. Однако сознайтесь: легче всё-таки правителю, когда теория говорит не «не убий!», а «убивай всех, кто поперёк твоей дороги встал!». Не упомню уж, какой-то француз в самый рас­цвет абсолютизма сказал: я знаю только одного тирана - го­лос моей совести. Трудненько, небось, Людовику к нему ключи было подобрать! А вот ежели б всем подданным внушить: ты - навоз, и за счастье почитай сгнить и удобрить поле, где произрастёт с течением времени всеобщее благоденствие, то можно ли что-нибудь более удобное для проходимцев всяких придумать? Вот и получается, что теории, которые вы почитаете за революционн­ые, лучше всего могут послужить закабалению человека. А вот мораль мракобесного Достоевского - действительно революцион­ная мораль, потому что делает каждого человека себе господи­ном ...

- Эк вы хватили! Просто Достоевский был честным художни­ком...

- Так вот я эту честность и ставлю во главу всему: чест­ный человек, ежели он даже и не семи пядей во лбу, всё какую- то крупицу истины добыть может. А нечестный, будь он хоть ка­кой умник, какую хочешь истину наизнанку вывернет, только бы самому выгоду получить...Да и честному человеку нелегко в своих мнениях до конца правдивым быть. Как верно наш великий поэт сказал! «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!» Я, собственно, и весь этот разговор зате­ял, чтобы мы, так сказать, взаимно могли от этого самого нас возвышающего обмана освободиться… Кто знает, может быть, и я ошибаюсь. Я не хочу попрекать Вас Вашей молодостью, тем более что по складу вашего ума и характера Вы так не похожи на Ваших желторотых (простите меня!) последователей, вроде Генералова и Андреюшкина, во всех других отношениях очень достойных молодых людей. Но всё же у Вас было меньше времени и возможностей познакомиться с нашим народом и вообще с жизнью, чем у меня. Так позвольте мне вернуться к тому вопросу, который Вы мне задали в начале нашей беседы: почему мы не позволяем проповедовать народу социализм. Вы были уверены, что сразили меня своим вопросом, сознайтесь?

- Ваш ответ был и в самом деле не очень вразумительным: чего это Вас так наша сохранность беспокоит? И раз она так Вас беспокоит, то зачем же Вы нас собираетесь на виселицу отправлять, как я понял из другого Вашего высказывания?

- Вы правильно меня поняли…Я буду с Вами абсолютно откровенен. Почему наказывается попытка социальной пропаганды? Во-первых, я даже соглашусь с Вами: это делается людьми, материально заинтересованными в нынешнем положении вещей, в видах его сохранения. Вы ведь так считаете?

- Так оно, без сомнения, и есть. Но что же Вы можете, в таком случае, сказать в свое оправдание?

- И в оправдание такого положения, когда кучка эксплуататоров…и так далее, и тому подобное – ничего сказать нельзя. Но заметьте: жизнь нам никогда не дает выбора между плохим и хорошим (это только у бездарных авторов бывает), а лишь - между более или менее плохим. И добавлю: сколько бы ни открывать в чем-либо недостатков, легко можно себе воо­бразить нечто ещё более отвратительное. Поэтому говорить: то-то и то-то надо упразднить в виду таких-то-сяких-то не­достатков, не самое разумное занятие для человека, пекуще­гося об общественном благе. Ежели таким манером действовать, то упразднениям конца не будет. Не упразднять, а кропотливо улучшать наше общественное настроение - вот чем, по-моему, должны заниматься разумные люди, каждый по мере своих сил. Позвольте вас уверить, я исполняю свою должность только пото­му, что она, пусть в скромной степени, позволяет делать эту работу. Я свято верю в её полезность - в конечном счёте - для того же самого народа, о котором печётесь и Вы купно с Вашими друзьями. Только смотрю я на всё это, мне кажет­ся, с несколько более общей точки зрения... Перехо­жу к существу дела. И хотелось бы продолжить нашу беседу в сугубо деловом тоне...

- Приветствую ваше желание, ибо, признаться, давно его жду.

- Тронемся же в путь! Общество наше несовершенно - так. В современной российской действительности так много отврати­тельного, что трудно преувеличить её недостатки...

- Ну, так что же из этого вытекает?

- Вот именно: что из этого вытекает? Почему Вы думаете, откуда Вы взяли, что причинами бедности, болезней, одичания нравов является наше общественное устройство или форма прав­ления Российской Империи? Из чего вытекает, что если бы Вам, допустим, удалось то и другое изменить по вашим социалисти­ческим рецептам, то все обитатели нашей матушки Руси обретут тотчас царство небесное на земле?..

- Позвольте ответить. Поскольку дело касается матушки Ру­си, ни о каких рецептах нет и речи. Наше желание - чтобы все граждане нашего государства имели возможность свободно устра­ивать свою жизнь так, как им заблагорассудится. Очень может быть, что в данный момент большинство народа - пусть даже и громадное его большинство - было бы против социализма. Но передовая часть нашего общества путём мирной пропаганды сре­ди народа очень скоро бы его убедила, что крестьянину выгод­нее самому владеть землёй, чем работать на земле помещика и кормить его; что рабочему лучше быть хозяином фабрики, на ко­торой он работает, чем по четырнадцать часов гнуть спину на фабриканта и получать от того подачку в виде жалования, кото­рого только и хватает чтобы не помереть с семьёй с голоду... Или Вы думаете, что наш народ настолько глуп, что не в состо­янии понять даже своих выгод?

- Ах, пожалуйста, будьте добры - только без демагогии! К чему эта риторика? И что за приём! Если я теперь скажу: да, глуп наш народ, и глуп настолько, что не понимает своих вы­год, так владеть со мной и говорить, значит, больше не о чем? А Вы вот докажите-ка, что он умён! Где Вы факты-то та­кие найдёте? Ну, напомните хоть один эпизодов нашей истории, где бы общественный ум народа нашего проявился! Нету таких эпизодов! Если что и было в нашей истории путного, то только тогда, когда народ в общественные дела не совался, а либо хлебовом был занят, либо – если хлебова не хватало - бывал загнан в крепкие клетки. Когда же он разнуздывался и вырывался на историческую сцену, ничего, кроме различных безобразий, не происходило. Впрочем, ведь нашу историю глуповскую, конечно, читали в изложении господина Щедрина? Помните, как там одного Иваш­ку за другим с раската в речку скидывали? Вот Вам и народ!.. Александр Ильич, дорогой! Не в понимании своих выгод дело! Часто как раз наоборот бывает: за ближайшими-то выгодами разоре­ния не видят! Всё не так просто, как кажется с первого взгля­да. Ведь ежели бы люди с самого начала думали только о выго­дах, ничего бы у них не было: ни наук, ни искусств, ни об­ществ. Грызли бы друг другу глотки за кусок хлеба и боль­ше ничего... Хлеба, впрочем, тоже бы не было... Это только наши доморощённые философы не устают твердить: всему, дескать, практические нужды - главная пружина: не толь­ко хлеб мужик сеет, а и науки-то все, и искусства люди по нужде придумали. Какие-такие нужды заставляли Ньютона заду­маться, отчего падает яблоко?! Кто от нужды об этом думал, тот эти яблоки быстрей в бочках мочил, чтоб барыш не постра­дал. Я уж и не спрашиваю, зачем Сократу было о добродетели размышлять. Супруга его, небось, совсем запилила относитель­но практических-то нужд, а он не переставал всё чепухой вся­кой заниматься. А от этой чепухи люди от зверей ушли; может быть, из-за него, из-за Сократа, у Вас, Александр Ильич, сей­час ноздри не рвут и спицы вам под ногти не загоняют. Да и я Сократу ещё больше Вас должен быть благодарен: вместо того, чтобы сейчас мирно с Вами беседовать, я ведь это самое с вами и должен был бы проделывать... А те, кто и в сократовы времена и до, и после него практическими нуждами заняты были, те ни­какого следа после себя не оставили. Я к тому позволил себе вам эту лекцию прочитать, чтобы ещё раз пояснить, как часто простые вещи нам кажутся простыми только потому, что лень нам бывает умом пораскинуть... Так вот, я вернусь к народу, понимает он свои выгоды или нет. Допустим, что своей пропаган­дой вы внушите ему, что он может обойтись, как вы выражаетесь, без эксплуататоров - без помещиков, без фабрикантов, без начальников, без попов. Я даже готов допустить, что этого вам удастся достичь довольно быстро. Перережет народ всех бар, заберёт у них землю, фабрики - ну, и что же будет дальше-то?.. Можете не отвечать, я знаю, что Вы скажете: народ устроит свою жизнь на социалистических началах, всем он бу­дет сообща, начальников выбирать. Ведь так?

- Ну а что бы Вы могли предложить народу лучше этого?

- В самом деле, ничего лучше придумать нельзя. И так бы оно, без сомненья, и было, если бы люди, все люди до одного без исключения (заметьте: до одного без исключения!) хотя бы на один день могли забыть о своих личных выгодах ради вы­год общественных. А этого, согласитесь сами, никак предста­вить себе нельзя. То есть можно себе вообразить, что боль­шинство людей, охваченное под воздействием вашей благонамеренной пропаганды неким общественным порывом, забудет о сво­их личных выгодах. Но ведь какой-то народишко обязательно останется, которому кроме личных выгод не до чего дела нет.

И ведь вы легко поймёте, что народ этот не глупый, народ этот смышлёный, народ этот хитрый и народ этот бессовестный! Какие гарантии может дать ваше общество, что в самое непро­должительное время люди эти под видом отцов отечества не при­берут к рукам власть, а с ней и все блага земные, оставив своим собратьям право неограниченно трудиться и утешать себя мыслью, что они граждане идеального общества?

- Видите ли, о таком предмете трудно спорить: что было бы, если бы... И так далее. Социалистическое общество будет соз­дано не в один день, это длительный исторический процесс. И я, по правде говоря, не очень понял, почему в этом обществе, если хоть один подлец останется, так неизбежно он-то и возь­мёт верх над всеми остальными честными людьми.

- Сейчас, по-Вашему, как: большинство людей честные или подлецы?

- Я думаю и сейчас, и в любое другое бывшее до сих пор время большинство людей честны.

- А почему же у кормила правления, как правило, люди сом­нительной честности оказываются? Потому что честные-то люди по печкам сидят да о добродетелях размышляют, да всё боятся, как бы кого не обидеть. Кто их слушать будет? А настоящие-то вожди сомнений не ведают. Быстрота, глазомер, натиск! Кто против этого устоит? Да и не дураки они: все Ваши прекрасные слова они очень хорошо знают и хоть грабить будут, хоть убивать, а всё будут толковать об общественной пользе. Нет, Александр Ильич, это уж аксиома: и тысяче порядочных людей не устоять против одного проходим­ца. Не мытьём, так катаньем, а заставит он их под свою дудку плясать. И будут честные люди стараться ближнему какими-нибудь окольными путями пользу принести: науками заниматься, самоусовершенствование проповедовать или, вроде Вас, тайные общества создавать.

- Сейчас, действительно, ничего больше не остаётся делать. Не в прокуроры же идти, чтобы ближнему послужить. Но всегда ли так будет? Всё меняется, это ведь тоже аксиома. А вы её никак признать не хотите. Ведь вы исходите из того положения, что люди, их психология, их представления о моральных ценно­стях были, есть и на вечные времена пребудут неизменными. Мы же, социалисты, считаем, что мораль формируется обществом. Человек человеку - волк, это основа морали эксплуа­таторского общества, а...

- ...а вашего, социалистического, будет - все люди братья?

- Да, братья.

- Позвольте уточнить, в самом деле, все люди будут братья, или лозунг такой будет: все люди, мол, должны быть как братья?

- И лозунг, как вы выразились, и на самом деле.

- Но всё же, позвольте узнать, когда же люди проникнутся друг к другу братскими-то чувствами: до наступления царства со­циализма или уже под его, так сказать, живительными лучами?

- Напрасно иронизируете. Вместе с ним.

- Нет, Вы не обижайтесь, пожалуйста! Вы вот давеча меня одёрнули насчёт того, что я не понимаю, что люди меняются. Но мне кажется, Вы сами впадаете в противоречие с этим тезисом. С одной стороны, в вашем обществе, где всё делается сообща, как лучше всем, где все забывают о своих личных выгодах и о таких проявлениях *эксплуататорской* морали, как стяжательство, властолюбие, тщеславие или подхалимство и трепет перед власть имущими, - в этом вашем обществе не могут жить современные люди. Вернее, это общество не сможет долго просуществовать, будучи заселено такими людьми. В свою оче­редь, где же взяться таким образцовым гражданам накануне со­здания социалистического общества? Вы ведь сами сказали, что только общество формирует мораль.

- Я же говорю вам, что социалистическое общество будет создаваться постепенно. Постепенно же будут формироваться люди. Не вижу тут никакой пищи для иронии.

- Я не иронизирую... Но какая же может быть постепенность в переходе от несправедливости к справедливости, от лжи - к правде, от зла - к добру?.. Скажите, свобода у вас сразу бу­дет осуществлена?

- Что значит - свобода? Политическая свобода - да. Сво­бода слова, печати, митингов, демонстраций.

- Так, понятно. А равенство?

Опять же смотря какое. Равенство перед законом, равен­ство возможностей развития и проявления своих способностей - полное.

- Ну а имущество?

- Каждый будет вознаграждаем в зависимости от степени полезности его труда для общества.

- Деньги, значит, будут?

- Могут быть и деньги или нечто, что их заменит.

- Ну что там ещё за нечто: ракушки, что ли, как у ди­карей? Печатные станки-то вы, чай, не будете уничтожать? Всё равно лучше, как напечатать на бумаге, ничего не придумаете...Так. С равенством получается уже потуже. Потому что какое же тут равенство, коли деньги! Уж раз будут деньги, значит, у кого-то их будет много, у кого-то мало... Ну о братстве не спрашиваю: это уже после полнейшего завершения постройки, на­до полагать. Какой же брат богатый бедному? Такое-то братст­во уже давно попами введено, а вами же, господами социалис­тами, бесповоротно осмеяно. Тэк-с, тэк-с... Ну не ясно ли Вам самим, если бы Вы нашли в себе мужество добросовестно во всю эту чепуху вдуматься, что никакого братства никогда не будет?

- Почему же?

- Да вот извольте, я буду рассуждать по Вашей же методе. Вы, чтобы братство учредить, справедливо начали с опроверже­ния имущественного неравенства - крестьяне резали дворян, ра­бочие - фабрикантов, а кончили провозглашением общества с разными денежными достатками. В Ваших рассуждениях молчали­во присутствует вера (которую, уж извините, можно объяснить лишь Вашей неопытностью в житейских делах), что если разни­ца в имуществах будет меньше, то от этого что-нибудь изме­нится. Пусть у фабриканта тысяча рублей доходу в месяц, а у рабочего - десять. А в вашем обществе, имеющим стать братством всех людей, рабочий по-прежнему остался с десятью ру­блями, а у мастера или, там, управляющего (будет же у вас кто-нибудь управлять) жалование будет двадцать рублей. Ведь всё равно все будут стараться быть начальством, и никто по своей воле не захочет оставаться, как вы выражаетесь, тру­дящимся. Ведь если бы вы рассчитывали, что все проникнутся чувством самоотречения, то надо было бы платить наоборот: ра­бочему - двадцать рублей, а начальнику - десять или совсем отменить всякие деньги. А этого, как вы говорите, сразу не будет сделано. Следовательно, все не смогут попасть на хоро­шие места, а те, кто попадут, постараются на них покрепче удержаться: а удержавшись, они постараются от себя в зависи­мость других поставить; а обретя власть, они не забудут се­бя ещё лучше обеспечить, потому что всё это будут люди, ещё новым обществом не перевоспитанные. И начнётся вся история наша отечественная сначала: кто кого смога, так тот того в рога! Уверяю Вас, и до свободы дело не дойдёт, потому что за­орёт опять мужик да рабочий-то с голоду. Да и обидно, сейчас хоть открыто говорят: нет равенства и быть не может, а рабы должны слушаться своих господ! Каждый сверчок сидит на сво­ём шестке, и с собачьим хвостом никто в волки не лезет. А в вашем-то, социалистическом, царствии, где никаким волкам быть не полагается, где одни псы будут жительствовать, от равноправных-то братьев - каково будет сносить! Какая уж тут свобода демонстраций! Сибирь-то, вон она какая громадная и совсем ещё не заселена!..

- Вы меня извините, господин прокурор, я Вам очень призна­телен за то, что Вы, так сказать, снизошли, и не хотел бы оказаться неблагодарным, отплатив Вам за Вашу откровенность какой-нибудь ехидной шпилькой...

- Я не сомневаюсь в Вашей деликатности, Александр Ильич!

- Спасибо... Да и в теоретические рассуждения я сейчас как-то не расположен, по правде говоря, вдаваться. Однако должен сказать Вам, что слушая Вас, я ещё более уверился в том, насколько и на самом деле люди ограничены своим общест­венным воспитанием и положением. Простите меня, но ведь, слу­шая Вас, невольно на память пословица приходит: у голодной куме всё хлеб на уме. Власть, богатство, деньги - неужели вы думаете, что для людей, отправленных вами на тот свет и в эту самую Сибирь, всё это имеет хоть какую-нибудь цену, ког­да они свою жизнь (напрасно вы считаете, что она им не до­рога) готовы отдать?

- Минуточку, ми-ну-точ-ку! - приподнявшись в кресле, про­сительно остановил Ульянова Михаил Михайлович. - Дорогой Александр Ильич! Я очень ценю! Ценю и готов преклониться...И прочее... Но позвольте, позвольте... Я Вам сейчас всё разъ­ясню. Наш разговор пошёл несколько по иному руслу, нежели я рассчитывал. И тут Вы, я теперь это ясно вижу, правы. Я-то воображал, что мы с Вами, как два неких мудреца, будем мир­но беседовать в поисках истины, хладнокровно взвешивая все за и против. Вижу, вижу - это невозможно. И не потому всё же чтобы поверил Вам, что люди думают так и не иначе только по­тому, что это им так выгодно или там какая-то среда так обу­словила. Это же, простите, чушь-с... Если этому поверить, так выйдет, что люди и вообще-то думать не могут. Да и не лю­ди они вовсе, а так - подопытные кролики какие-то...Некото­рые, впрочем, таковыми и являются...и даже колоссальное боль­шинство. Но я об этом после, если позволите. Я вот что Вам скажу: Вы сейчас захвачены борьбой, всё Ваше существо, так сказать, настроено на эту борьбу, где же Вам оглянуться по сторонам... Не возражайте мне, прошу Вас!.. Позвольте мне из­ложить мои взгляды на эти вопросы. Вы можете с ними не со­глашаться, но ведь Вам не может повредить знание взглядов другого человека, не так ли? У Вас ещё будет достаточно вре­мени их обдумать, и Вы потом, как-нибудь позже, найдёте воз­можным сказать своё о них окончательное мнение. Только, ради Бога, не торопитесь! Вы через месяц... ну или ещё через какой-нибудь срок, сами увидите, как Вы после всего этого здесь повзрослеете, насколько более зрелым станет Ваш ум. И я уверен, что у Вас хватит мужества сознаться себе (себе, Александр Ильич!), как много из того, что ещё сейчас Вам представляется таким бесспорным и важным, окажется вздором...Я не разочарован в Вас. Я думал, что Вы уже прошли это, а оно у Вас впереди. Осипанову этого не пройти, а Вы пройдёте...Что касается меня, то можете меня считать просто болтливым человеком. Мне всё равно. Да быть может, так оно и есть, ибо других побудительных причин, кроме желания поделиться мысля­ми с достойным человеком, я не имею. Я не непоколебимо уверен в безошибочности своих мнений, многое мне самому не ясно. Вы согласитесь, что те, кто в истинности своих мыслей не сом­невается, не будут их выносить на суд другого. Зачем им это? А я - поверьте, быть может, никто больше меня не жаждет, что­бы проклятые мысли мои были бы опровергнуты и развеяны по ветру. И когда Вы будете готовы это сделать, я с удовольст­вием Вас выслушаю. А сейчас, будьте добры, слушайте и молчи­те. В худшем для Вас случае мои мысли Вас не коснутся, так что Вы ничего не теряете...

Ну-с, давайте-ка сначала с вами поразмыслим, что за шту­ковина такая - человек. То есть я опять хочу вернуться к утверждению господ социалистов, что, дескать, мысли людей, их теории и даже представление о том, что хорошо что дур­но зависят от среды, от общественного устройства, - словом, от вещей, лежащих вне их сознания и от них не зависящих. И, значит, в силу постоянной изменчивости этих последних ниче­го вечно истинного в том, что они принимают за добро и зло, быть не может... И Вы давеча в том же духе изволили говорить, а я Вам сгоряча всё наоборот доказывал. А я, пожалуй, согла­шусь с Вами: пусть так оно и есть! Но! Это справедливо, толь­ко ежели брать людей во всей их массе. Не утруждать себя разглядыванием всех по отдельности, а оперировать неким сред­нестатистическим, если можно так выразиться, человеком. Над ним можно, и в самом деле, как над кроликом, опыты ставить, и заранее можно предсказать, куда он побежит и какую кочерыж­ку грызть начнёт. Человек человеку волк, люди говорили и перегрызали друг другу глотки. Ладно. Девятьсот девяносто девять человек из тысячи... А, что там! Девятьсот девяносто девять тысяч, девятьсот девяносто девять мудрецов говорят в один голос: своя рубашка к телу ближе! Но всё же один-то из миллиона нашёлся и сказал: раздери ризу свою пополам и от­дай половину ближнему! Мудрецы говорили: око за око, зуб за зуб, перелом за перелом! А один-то нашёлся-таки и сказал: если тебя ударят по правой щеке - подставь левую! Вот отку­да он берётся, этот один-то простак, над которым какие опы­ты ни ставь, всё равно заранее не предугадаешь, что он от­мочить может?! Раньше говорили: Божья благодать и прочее, но в наш просвещённый век стыдно так говорить: мы ведь в Бо­га не веруем... Ну вот вы, Александр Ильич, веруете Вы в Бога?

- Нет, не верую. Хотя Иисус Христос, я считаю, нам на­много ближе, чем вам, например.

- Согласен, согласен, Александр Ильич! Пусть я буду пе­ред вами Понтий Пилат... Но как же, однако, объяснить по­явление вашего предтечи, социалиста-революционера Христа? Какие-такие общественные исторические условия, какая-такая среда могла обусловить его лозунги, вроде «полюби ближ­него больше самого себя» и тому подобное?

- Я, конечно, не могу себя считать человеком, компетент­ным в этих вопросах, но, мне кажется, последнее время напи­сано очень много толковых книг, которые вполне удовлетвори­тельно решают этот вопрос, не в пример книгам, которые всё объясняли Божьей благодатью...

- Ну да, это значит, римское владычество, тяжёлое поло­жение рабов и прочее?

- Точно так.

- Задним числом чего нельзя объяснить! Всем рабам было тяжело, только почему-то один раб лишь о себе по­мышлял и становился надсмотрщиком над своими товарищами, а то и сам делался рабовладельцем, а другой возглашал: бла­женны алчущие правды! Понятно, что люди не в пустоте живут и свои поступки и помышления с обстоятельствами своего бы­тия так или иначе согласуют. Но разве на этом надо ставить точку, как Ваши друзья делают? Вопрос: почему ввиду одина­ковых обстоятельств по поводу одной и той же вещи один го­ворит да, а другой - нет? Ответ, мне кажется, может быть только один: у одного из этих людей есть свободная воля, то есть он говорит давили нет по совести, в то время, как другой всё время прикидывает, что ему сказать выгоднее...Я сказал «по совести», хотя очень хорошо понимаю, что в глазах моего воображаемого оппонента-социалиста, этим самым расписался в полнейшей своей несостоятельности, ибо тому очень хорошо известно, что никакой совести вовсе нет. Да и я в большом затруднении, как её определить... Вы изволите, ко­нечно, знать анекдот про учёного Лапласа? Наполеон, видите ли, спросил его: где же в вашей системе мира место господа Бога? И Лаплас по справедливости ответил: в моих построениях я не нуждался в этой гипотезе. Не правда ж, как остроумно и верно! Но нам-то с Вами, Александр Ильич, ах как бы эта гипотеза сейчас пригодилась! Ведь всё бы сразу на своё место встало: есть Бог - всеблагое существо, и в каждом из нас присутствует искра Божья в виде души. Бог посредством ее и поддерживает в нас знание, что добро, что зло; и душа наша, то есть Бог, радуется, когда мы делаем добро, и страдает, когда мы творим зло. По той же причине и тот, один из миллиона, испытывает блаженство, разрывая ризу свою пополам или ступая на костёр за други своя...

- Легкость объяснения ещё не доказывает его правильности. Я припоминаю, мы в детстве считали, что девочек на свет про­изводят мамы, а мальчиков - папы...

- Хе-хе, совершенно согласен с Вашим остроумным замеча­нием, совершенно согласен. Как ни жалко мне расставаться с моей детской теорией, но - увы, увы! - научный факт - Бога нет. Я самым серьёзным образом Вам заявляю, что очень может быть, что так оно и есть. Хотя разве не ясно, как сра­зу трудно всё становится объяснить. Если только вообще воз­можно что-нибудь объяснить.

- По-моему, вам невозможно без Бога и шагу ступить.

- Нет, я сейчас попытаюсь это сделать... Но и Ваши объ­яснения, то есть, что вечного и абсолютного ничего нет - ни морали, ни добра, ни зла, - меня они тоже не очень-то убежда­ют, потому что они страдают другим, ещё большим, чем наивность, изъяном: они противоречат наблюдаемым фактам, они взяты из теорий, которые сами висят в воздухе. Ведь за всё время, что человечество себя помнит, - разве это не ясно? - никакие моральные ценности изменения не претерпели...

- Извините. Для меня ясно нечто противоположное: в тыся­чах документов человечество запечатлело разное в разные эпо­хи понимание добра и зла. Я уж не говорю о сборниках законов, но и в литературе - что ни эпоха, то новый герой: ге­рои и боги античности - одно, рыцари средневековья - другое…

- Неутомимые детективы и хитроумные жулики нашего време­ни, добавьте, - третье... Ах, Александр Ильич, не в тех до­кументах и не так, как надобно, ищете Вы истинное понимание людьми добра и зла. Вам представляется моралью то, что боль­шинство людей в данный момент таковою признаёт. Это можно бы сравнить с модами на одежду: сегодня ходят в хитонах, а зав­тра - в сюртуках. И, как и одежда, эти взгляды на добро и зло, действительно, без конца меняются. Тут и спорить не о чем. Но Вы повнимательней вглядитесь во все эти многоцветные одежды и увидите, что во все эпохи, во всех общест­вах всегда были люди, люди странные, непонятные их современ­никам, которые одеждами этими пренебрегали и ходили, образ­но говоря, нагишом... Вы «Илиаду» давно читали, Александр Ильич?

- Ещё в детстве.

- Не подумайте, что я к ней обращаюсь, чтобы знанием классиков перед вами блеснуть. Просто не так давно мне приш­лось её перечитать, так благо забыть ещё не успел... «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына!» И вся-то книжища вос­певает гнев и Ахиллеса, и других героев, и даже богов. Кажется, места в ней нет истинному-то, «вечному» пониманию добра и зла. Положительные герои кровь рекой льют. Никто, по-видимому, не сомневается, что важнее всего быть сильным, ловким, мужественным. Сунься-ка к ним с проповедью о левой ще­ке!

- Мне кажется, в самом деле так и было.

- И мне, когда я в детстве читал «Илиаду», так казалось, Александр Ильич...Но вспомните-ка: есть там персонаж такой - Терсит. Гомер его этаким ничтожеством изобразил: и трус-то он, и грудь у него узкая, и на голове вместо волос пух как какой-то растёт. А главное, говорит он всё время не то, что надо: поносит величественных героев и вождей. Обожрались вы, говорит, и всё вам мало. Так что одному из них, хитроумному Одиссею, пришлось вразумлять Терсита дубиной по го­лове, после чего сочувствовавшие было его речам меднодоспешные ахейцы вдосталь над ним насмеялись. Так вот, по-моему, Терсит этот всю монолитность античного общества и всю гармонию гомеровской морали в прах разносит... Видите ли, «вечная» мораль - это вроде родника живой воды в стоячем бо­лоте морали общепринятой. Бывают эпохи: кажется, заглох родник этот; все, вроде, как один, вопят: распни его! И это-то всеми и почитается за высшую добродетель. Но роднички бьют и там и сям, сливаются в реки, и болото под их напором ра­но или поздно приходит в движение. Правда, чистая родниковая вода в болоте свою чистоту теряет, но родники своё дело всё же делают: не дают болотной воде выставлять себя за образец чистоты. Ведь если люди и говорили, что человек человеку волк, или своя рубашка ближе к телу, то говорилось это с горечью, потому что чувствовать-то они не переставали, что так не должно быть, что это дурно. А кабы не знали люди что хорошо, что дурно, то не было бы лицемерия, желания скрыть свою подлость. И ваши социалистические идеалы, о воплощении которых вы так хлопочете, что они нового добавляют в веко­вечные мечты человечества о мире справедливости и добра? Да и самих понятий этих не должно бы вовсе быть: откуда они могли взяться в обществе, где человек человеку волк? Да и не признают их Ваши друзья, вот только как они объяснят, отку­да же сами эти слова могли взяться, раз они ничего не обоз­начают?.. Я в одной из ваших революционных брошюр такой при­мер встретил. Вот, говорит автор, считается незыблемым моральное правило «чти отца своего». А вот у таких-то дикарей на каких-то там островах так принято: как только ро­дитель одряхлеет, оставляют его одного в пустом месте умирать Ну и разумеется, вывод: что у одних считается злодейством, у других - добродетелью. Но ведь в этом примере как раз противоположное поражает! Разница с нами тут только в обычае: у нас дети заботу проявляют ухаживаниями у постели больного отца, а там считают, раз пришло время человеку умирать, то есть отправляться в некий путь, его надо всем оставить, не мешать ему. Сущность-то и на заброшенном в океане остро­ве, и в благоустроенной европейской столице одна - надо лю­бить родителей, заботиться о них... Вот ведь в чём револю­ционность-то у таких писак заключается: видеть только то, что тебе подходит, и не замечать того, что стройность тво­ей теории нарушает...Но всё же, повторяю, я готов допустить небытие господа Бога. Ибо по совести должен сказать, что раз нельзя доказать ни того, что Бог есть, то никакой нужды в доводах, что его нет, и значит, и то и другое должно быть признано одинаково вероятным. Вот я сейчас и попытаюсь объяснить, откуда в лю­дях могло появиться представление о высшем благе и справед­ливости помимо Бога. Очевидно, что из своего повседневного опыта человек не мог извлечь этих представлений; вернее, он не мог их ложным образом оценить. Жизнь ему на каждом шагу показывает преимущества зла перед добром и справедливостью, и он должен бы был молиться не Богу, а Дьяволу. Впрочем, для относительно громадного большинства людей так оно и есть. Недавно в одном этнографическом описании наших с Вами любез­ных соотечественников из Калужской губернии я прочитал лю­бопытную вещь. За Вашими делами Вам, конечно, было недосуг ещё и такого рода литературой интересоваться, так позвольте мне с Вами поделиться... Оказывается, праздник так называе­мого Спаса яблочного существует, по общему убеждению нашего народа, главным образом для того, чтобы христианам было ведо­мо, когда можно есть яблоки: кто из них вкусит от сего пло­да до этого срока, того детей, умерших во младенчестве, все­благой наш господь Боги не пустит в рай, а отдаст в услужение чертям!.. Не знаю, как на вас, - на меня такие фактики дей­ствуют удручающе. Ведь это что же выходит: вся тысячелетняя проповедь евангельских истин никакого-то следа в людях не ос­тавила! Ведь ничего-то, кроме идолопоклонства, они, выходит, из неё извлечь не могли! Ну посудите сами, разве для эта­ких-то людишек Евангелия писаны? Остаётся нам только объяснить, откуда авторы Евангелий могли взяться. Я пробовал над этим вопросом размышлять, учитывая, что никакого Бога нет, и, следовательно, евангелисты с неба свалиться не могли, и вот, извольте послушать, до чего додумался.

Вы, разумеется, лучше меня осведомлены о теории Чарльза Дарвина о происхождении тварей земных, а также и человека. Мне и говорить с вами об этом, право, неловко: Вы человек учёный, а мы так-с, в бумажках всю жизнь рылись. Но мне, хоть я и профан, разумеется, в этой части, одна мысль пока­залась всё же не лишённой интереса. Может быть, я и ошибаюсь, но и учёные люди её как-то из виду упускают... То есть я не хочу сказать, чтобы я умнее их был, раз дошёл: видно, не до того им, руки, так сказать, у них до всего не доходят...

Так вот, я говорю: Дарвин-то открыл, что от обезьяны че­ловек произошёл. Я бы, конечно, никогда до этого не додумал­ся, но теперь, раз такое дело, я тоже вот смекаю: ну что же, произошёл - и конец, что ли? Ведь он всё ещё продолжает, чай, происходить. А может быть, уже и от человека-то какое-то новое животное происходит, и этак через миллион лет новый Дарвин будет доказывать, что какой-нибудь там халдей или ефиоп (не знаю, как эта тварь будет названа) от человека произошёл. То есть, если Дарвина до конца признать, то ведь так оно досконально и должно быть! Так вот, в человеческой породе и идёт этакое подспудное расслоение: на поверхности, вроде бы, все люди одинаковы, а на самом-то деле, человечест­во уже треснуло, и треснуло непримиримо, так что эта новая порода от человека отличается уже, может быть, больше, чем человек от обезьяны. Потому что тут различие намечается кардинальное - не в строении, там, лап или в форме челюстей (впрочем, кто знает: может быть, и до этого ещё дело дойдёт), а в том, есть совесть или нет её вовсе...

- Так и человек от обезьяны отличается главным образом не формой лап...

- Разум изволите иметь в виду, интеллект? Книгопечатание, процветание наук и художеств и прочее? Я бы с Вами согласил­ся, если бы всё это служило всё тому же: познанию добра и зла. Но ведь Вы всему этому другое назначение приуготовили: всё должно служить всё тому же прогрессу окаянному! Я об этом, если позволите, попозже, а сейчас относительно самого интеллекта хотелось бы два слова молвить. Я боюсь по­казаться Вам банальным, Александр Ильич, но всё же должен совершенно искренно заявить, что сильно сомневаюсь в разумности человеческой породы-с. Конечно, ни одна собака закон все­мирного тяготения не откроет! Зато она другие открытия дела­ет. Ну к примеру, чтобы дверь в кабинет отворить, надо лапу под неё просунуть и потянуть к себе, а не биться в эту дверь головой. Тут же, в принципе, никакой ведь разницы с Нью­тоном нет... Или вот, позвольте вам рассказать, я недавно про насекомых одну книгу прочитал, так автор её уж так ли до­волен, какой тёмный народ эти насекомые. Хотя их действия и поражают поверхностного наблюдателя необыкновенной своей ра­зумностью, а посмотрите-ка, говорит, вынул я из сотов личинки, а пчёлы и пустые соты запечатывают. Бессмысленное за­нятие!.. Александр Ильич, посудите сами, если бы за чело­вечеством этак сверху понаблюдал кто-нибудь, как оно нивы пашет, города строит, а потом своими же руками разоряет всё, ну можно ли тут будет хоть какую-нибудь крупицу разумности усмотреть?.. Знаю, знаю: Вы сейчас всё это на счёт обществен­ных язв отнесёте. Но ведь и общество сам человек создал! Ведь не приходил же за него все наши порядки волк из лесу учреждать! Всё рук человеческих дело... Да к тому же извольте и то в соображение взять: много ли среди людей-то таких, которые до закона о всемирном тяготении додуматься способны? Раз-два - и обчёлся. Так зачем же сравнением с Нью­тоном бедное животное унижать?.. Я вот в должность для моци­ону пешком хожу, и приходится мне идти мимо колбасной лавки купца Сысоева на Малой Садовой... Может, знать изволили?..Так там приказчик один - здоровый этакий детина - имеет обы­кновение с псом забавляться: сапожищем своим всё в пасть, в пасть псу этому норовит угодить. Исключая пса, все этой за­баве, конечно, очень бывают рады. А пёс, доложу я вам, нет, не сердится, а недоумевает; не может он в толк взять: ежели играет с ним приказчик, так зачем он делает ему больно, а ежели это враг, то почему не скалит в ярости зубы, а смеётся? И меня всякий раз эта сцена до изумления поражает: как же осмысленно и понятно поведение животного и как лишены ма­лейшего смысла поступки человека, этого царя природы, обла­дателя могущественного интеллекта! Нет-нет! То, что мы разу­мом называем, ещё не сильно отличает человека от прочего скота. Поверьте, халдей от человека подальше ушёл. У этих двух существ мотивы поведения совершенно разные. Нормальным человеком движут обычные чувства, свойственные всем тварям поднебесным: голод его одолевает - он ищет еду, холодно ему - он укрывается, самка понравилась - думает о потомстве. И всё. Ну остальное всё из этого же источника проистекает. А у ефиопа или там халдея, сверх того, ещё одно чувство появи­лось, да такое, что оно над другими, первичными-то чувствами верх берёт. Это жажда справедливости, совесть. И как зрячий никогда не сможет объяснить слепорождённому, чем красное от синего отличается, так и эти две породы, люди и ефиопы, друг друга понять не в состоянии. Человек говорит: зачем это на костёр идти, когда можно распрекрасно пироги есть? А ефиоп, на костёр идя, ужасается: как это они жить в этакой мерзости могут!

Зачем природе понадобилось такой кунстштюк с ефиопом вы­кидывать - можно только догадываться. На первый взгляд, ка­жется, что у человека против ефиопа все козыри, сгрызёт он ефиопа, как волк овцу! Но человек и сам себя сгрызть может - вот в чём, по-моему, дело! Вы посмотрите, как наловчились люди изводить друг друга! Какие орудия смертоубийства изо­брели! Ведь если так дальше пойдёт, то лет этак через двес­ти-триста целые народы будут друг друга целиком под корень сводить, и наступит всей человеческой породе крах. Предвидя сей печальный финал, природа и изобрела ей на смену ефиопа: придёт он и будет делать всё сообща да по любви. Последних же из людей будут показывать в зверинцах... Может быть, тем самым и сбудется пророчество - о конце-то света и о царст­вии небесном на земле, - а сказать на вашем языке, осуществится наконец социальная республика... Но всё это не скоро ещё, по-видимому, воспоследует, а до тех пор ефиопу лучше на ули­цу носа не высовывать.

Я это теперь всё хочу к тому случаю пристегнуть, когда Вы, имея в виду мою жажду богатства и власти, меня послови­цей попрекнуть изволили - у голодной-то куме... А что Ваши друзья тем только и заняты, как бы жизни свои побыстрее на алтарь всеобщего блага положить. Простите меня: не верю я им! То есть не тому не верю, что не способны они ра­ди своих целей собой пожертвовать. Я уже имел случай Вам высказать, почему это для них не составляет большой жертвы. Не верю я тому, что те из них, кто достигнет этой цели, только для того её и достигнут, чтобы опять собой для пользы ближнего жертвовать. Конечно, и такие среди них будут, которым только дай на костёр взойти. Но, уж поверьте мне, никакой власти им никогда не видать, а они и тогда ни на что больше не годны будут, как только на костры вступать. Властвовать другие личности будут. Это Вы по чи­стоте вашей и безгрешности вообразили, что все они, как и Вы, будут бескорыстно на самых гуманных началах на развалинах старого мира новую жизнь во имя общего блага созидать. И придётся таким, как Вы, опять силой убеждения, силой сво­его примера граждан республики за собой на костёр тащить. Думаете, люди тогда умнее будут? Уроки из истории извлекут? Дудки! Се будет глас вопиющего в пустыне: сгореть-то вы сами сгорите, а массы-то, массы - как вы людей именуете - у этой массы не тем будут мозги заняты...

- Ну это Вы, извините, ни к чему. Никаких костров не по­требуется. Единственное, что необходимо людям, чтобы сделать свою жизнь лучше, это элементарная человеческая честность...

- Честность всего-навсего! Эх, Александр Ильич, Алек­сандр Ильич! Ну а ежели кто нечестен, тот, выходит, и не че­ловек?

- Мы с Вами начнём повторяться. Весь вопрос в том, *почему* люди становятся нечестными, и не могли бы они в других условиях все стать честными.

- Но вот вас, однако же, никакие условия не заставили идти против совести. Папаша Ваш был дворянин, его превосхо­дительство, с Вашими способностями можно было бы блестящую карьеру сделать, а Вы всему предпочли юдоль страданий. Совесть не позволяет? Почему же другие-то, громаднейшее большинство людей, так легко расстаются с этой самой совестью, раз пред­ставляется возможность с выгодой для себя с ней расстаться?

Позвольте мне для большей, так сказать, выпуклости об­ратиться к крайней форме нечестности, к преступлениям; и к преступлениям таким, которые даже Вашим друзьям-социалистам трудно социальными условиями оправдать будет... Хотя, впро­чем, для них всё трын-трава... Вы ведь не будете возражать, Александр Ильич, что человек, делающий мелкие подлости, еже­ли не делает больших, то не потому, чтобы он был менее подл, чем человек, идущий на крупные преступления? Ведь очень час­то в мелких-то гадостях большая даже подлость сосредоточена бывает. Да к тому же значительность преступления часто, до­ложу я вам, зависит не от личности преступника, а от случая. С год тому пришлось мне разбирать дело пяти мастеровых. По­дрались они, пьяненькие, в кабаке с друзьями-собутыльниками, а из-за чего - даже вспомнить никто из них не мог. И один из дравшихся был убит в свалке ударом бутыли по голове. Вот и трудились мы целую неделю в поте лица, чтобы выяснить, ко­му их них подвернулась под руку эта несчастная бутыль. А не случись её под рукой или придись удар не в висок, а по лбу - и не было бы ни преступников, ни суда; через полчаса распи­ли бы все вместе новое полуведро водки и утром проснулись бы как ни в чём не бывало: головы бы только, как обычно, болели да у одного из пьяниц синяк был бы на лбу...

И всё же, можно ли оставить без наказания человека, спо­собного из-за глотка водки изувечить своего ближнего?

Вы помните, должно быть, по гимназическому курсу, зако­нодатель был такой в древней Греции - Драконт. За всё-про всё по его уложению полагалась смертная казнь. А спрашивали его - почему, мол, такие строгости? - он отвечал: самое, дескать, малое из сих преступлений, по его мнению, заслуживает смерти, для более же важных он не мог придумать достойного их наказания. Нам-то, гимназёрам, этого Драконта как буку преподносили, а во мне, помню, он совсем другого рода чувства и мысли пробудил. Мне и сейчас кажется, что он вот этот са­мый случай с полуштофом имел в виду. Это мы две с половиной тыся­чи лет спустя от большого ума да оттого, что просвещены слишком, целую неделю не имеющие отношения к делу вопросы разбирали, а Драконт здраво бы рассудил: кончилось ли дело убийством или синяком на лбу - раз человек оказался настоль­ко подл, что из-за пустяка готов был укокошить своего ближ­него, это никакого значения в смысле размеров его преступ­ности не имеет. И почему за всё смертная казнь, тоже Драконта понять можно. Действительно, смертная казнь не имеет смы­сла ни как месть (хотя бы она громко именовалась воздаянием), ни как средство устрашения: трусы не совершают обдуманных преступлений. 0 преступниках, совершающих преступные деяния в помутнённом рассудке, и вовсе говорить не приходится: они наших уложений знать не знают. Лишение преступников жизни имеет смысл лишь как своего рода селекция: древо, не прино­сящее доброго плода, срубают и бросают в огонь! Мне казалось, я постиг конечные намерения великого законодателя: подлецы и бессовестные люди так или иначе изобличат себя, и челове­чество очень скоро будет от них очищено, достойным жизни бу­дет признано только чистое, честное, человечное!

И только с годами понял я тщету подобных мечтаний, и не потому, что желание избавить род человеческий от подлости поутихло, а, познакомившись покороче с этим самым родом, яс­но мне стало, что людям такой работы поручать нельзя, что переврут они всё, по своему обыкновению, и очень может стать­ся, что подлецы из подлецов будут объявлены образцами добро­детели, а самым порядочным из людей оттяпают головы. Короче, понял я, что мы с Драконтом берём на себя обязанности самого господа Бога: в день Страшного Суда Он-то как раз и должен бу­дет произвести такую сортировку. А дотоле люди должны думать, как им всем вместе на нашей грешной земле ужиться: и чест­ным и бесчестным, и умным и глупым, и прогрессистам и ретроградам...

Я это предисловие отчасти потому себе позволил сделать, что предвижу Ваше возражение по поводу того, о чём желаю Вам рассказать, а именно, что преступник - это, дескать, осо­бая статья, что он, как иногда выражаются, для человеческой породы не типичен. А за границей так последнее время пишут даже о каком-то преступном типе. Сущая ерунда-с, можете мне поверить. Ежели и есть такой тип, то под него девять де­сятых человечества подвести можно... Мы всякий раз, как уз­наём о каком-нибудь зверском преступлении, ожидаем встре­тить в человеке, его совершившем, некие особые метки сатаны в виде каких-то там огненных клейм и прочего, и очень быва­ем удивлены увидеть перед собой обыкновенного какого-нибудь субъекта, зауряднейшую личность, часто даже не лишённую ка­ких-то достоинств. Мне по моей должности со многими убийца­ми и насильниками пришлось познакомиться, и всякий раз они во мне это наивное недоумение пробуждали, пока я не понял, что ничего другого для злодейства не требуется, как состо­ять в должности обыкновенного человека. Это люди, не способ­ные на преступления, те, действительно, необыкновенные люди. Часто даже странные люди, с чудачествами, вроде сумаcшедших. Говорится: от великого до смешного один шаг. А я вам скажу: от обыкновенного человека до бездушнейшего злодея не шаг да­же, а полшага или того меньше. И если не всякий обыкновенный человек делает эти полшага, то только потому, что случая ему не представляется.

Извольте, примеры, совершенно свежие: в прошлом году про­ходили процессы, может быть, знать изволите. Первый - из му­жицкого звания, торговал лошадей... Заманит к себе покупателя с деньгами - вроде бы на товар взглянуть, - усадит за стол, чайком угостит, а потом сзади подкрадётся да топором по темени - хвать! Деньги, двадцать-тридцать целковых, - в карман, труп - на куски и в отхожую яму. Что-то около двадцати душ загубил. И никто-то его, душегуба, от других людей не отличал. Соседей допрашивал - все о нём отзываются чуть ли не с уважением: хороший-де был хозяин. Но если сам убийца - редкое исключение, то вот жена его, хотя бы в силу самой вероятности, не может быть тоже редким исключением: ведь как же два таких редкостных экземпляра могли бы друг с другом в море нормальных людей встретиться? Так вот, жена выдала его только потому, что не дал он ей денег на какую-то безделушку. Хозяйственный уж очень был человек! Вы скаже­те: это, мол, мужик, его правительство в темноте с детства держит! Ладно. Вот вам другой экземпляр. Этот - из чиновни­чьей семьи, в гимназию ходил. Я близко с ним познакомился. Единственный в нём недостаток, с точки зрения качеств обы­кновенного человека, - это, пожалуй, чрезмерная наклонность к авантюризму. Проще сказать, живая натура. Последнее время был провинциальным артистом. Смазливая внешность, играл ро­мантических благородных героев. Сколько раз, небось, умирал на сцене для блага ближних... Н-да, а в свободное от репети­ций время ходил по домам. Несмотря на свою живость, риску не любил: улучит момент, когда одни детишки дома останутся, постучит. Детишки, ничего не ведая - ну прямо как в сказке про семерых козлят! - откроют, а он их молотком по голов­кам - тюк! тюк! тюк! В чемоданчик напихает что подвернётся, деньжонки или вещички какие, так мелочь всё больше разную, и - в другой город с труппой, опять благородных героев играть. Средств, жалуется, не хватало. Вот если бы, говорит, на сто­личную сцену попасть - сроду бы на такое дело не пошёл...А что? Ведь он правду говорит: пофартило бы малость, удалось бы этому обыкновенному человеку в Императорский Александринский театр пробиться, глядишь, играл бы сейчас Вильгельма Телля какого-нибудь, гуманные монологи перед рам­пой декламировал, а мы бы с вами слушали бы, умилялись да аплодировали...

- Ваш пример, мне кажется, говорит не в пользу Вашей те­ории: выходит, и в самом деле всё обусловлено.

- Я же сказал, Александр Ильич, что считаю Вашу теорию верной относительно громаднейшего большинства людей. Их по­ведение, действительно, обусловлено. Но разве можно к этому факту спокойно относиться! Главной-то моей мысли Вы никак понять не хотите: вот то-то и ужасно, что честность или под­лость человеческая от таких пустяков зависят! Ведь это что же выходит: никакой порядочности с людей спрашивать нельзя, пока они все не нажрутся до отвала. Но ведь люди никогда сы­ты не будут! Сегодня хлеба им мало, завтра - вином их напои, одень богато, дай каждому красивую женщину, посели во дворце. Ведь никогда же на всех всего не хватит! Вы говори­те, при социализме все будут озабочены, чтобы у других все­го было вдосталь, а на себя всем будет наплевать. Но откуда же таким самоотверженным гражданам будет взяться, когда и того и сего будет на всех не хватать? Чем их мораль может быть *обусловлена*? Ваши социалистические пророки и тут всё предусмотрели: перво-наперво они обещают всех на­кормить. Правда, они не открывают секрета, как они собирают­ся сие сделать. Видимо, надеются повторить чудо с тремя хлеба­ми...

- Не к чему им его повторять. Уже теперь достижения со­временной науки позволяют доставить людям изобилие по крайней мере в самом необходимом. Чудо демонстрируют теперешние правители, ухитряясь морить голодом страну, в которой прихо­дится на душу больше десятины пашни.

- Ну хорошо, хорошо. Изобилие достигнуто, наелись люди, напились, о лаптях забыли, «изоб нет, везде палаты». И на этой почве начинает процветать социалистическая мораль: ни­кто не ворует, не насильничает и даже все начинают прикиды­вать, чем бы от такого изобилия с ближним поделиться... Но вот, предположим, засуха поразила вашу благословенную страну, наводнение или землетрясение разрушило все палаты. Вы ведь не сможете и их в вашем будущем обществе отменить. И что же, вместе с изобилием и морали всей конец должен прийти, и лю­дишки опять будут кумекать не о том, чтобы с кем-то чем-то делиться, а как бы последнее у кого отнять? И опять мы с Ва­ми их должны будем извинять: условия их так делать понужда­ют… Нет, Александр Ильич, у подлости не может быть никаких смягчающих обстоятельств! А иначе, если эту истину устранить, то не устройством общества на разумных началах мы сейчас бы с Вами были заняты, а тем, как бы живыми остаться; как бы не загрыз нас кто-нибудь, кому есть хочется, а до ближайшей лав­ки итти недосуг. И ежели вожди ваши доказывают, что причи­на преступлений - несовершенство нашего общественного устрой­ства, а преступник не виноват, то это только то означает, что они сами по своим душевным качествам от преступников недалеко ушли. И Вы не можете иначе рассуждать, Александр Ильич! Вот извольте мне прямо ответить: Вы с такой готовностью извиня­ете чужие пороки - извинили бы Вы себя, если бы прихлопну­ли младенца, чтобы повеселиться вечерком в интеллигентном кругу? Или, умирая сами с голоду, отдали бы этому младенцу последний кусок хлеба, нуждайся тот в нём?

- Видите ли, в положительных сторонах моего характера, быть может, меньше всего моей заслуги. Мне просто повезло родиться и расти среди честных людей. И родители с самого раннего детства внушали мне понятия о долге каждого человека перед ближними, и дальше на каждом шагу я встречал прекрас­ных, честных людей, и рано поэтому понял, что не хлебом еди­ным жив человек. Вот и всё. Удивительно не то, что у людей, поставленных условиями жизни перед необходимостью всеми прав­дами и неправдами добывать хлеб насущный, дети обыкновенно тоже ни о чём другом не в состоянии бывают подумать. Разве может у нас, росших за их счёт без забот и лишений, под­няться рука, чтобы бросить в них за это камень? Удивительно, что и в такой среде появляется масса людей, стремящихся к добру и свету...

- Вот именно - удивительно! Совершенно правильно Вы ска­зали. И я тоже не устаю этому удивляться. Да об этом, соб­ственно, у нас и речь: откуда эти стремящиеся к добру и свету, как Вы счастливо выразиться изволили, субъекты берутся и как раз там, где их и быть-то по нашей теории не должно? Не сог­ласен я только с вами, что людей этих - масса. Масса - как раз совсем другого сорта людишки... Вот Вы говорите: не вну­шали им с детства всякие гуманные понятия. Ну что значит - не внушали? Что же, человек так и вырос, что ли, в неведении, что нельзя ближнему зла делать? Ведь и поп его, поди, этому учил, и школьный учитель. Да и сейчас я ему тысячу раз могу повторить: возлюби ближнего как самого себя, - а что от это­го будет проку? А между тем, сосед ему только на ухо шепнёт, что вот там-то и там-то у кого-нибудь из ближних скрасть что-нибудь можно, так он тотчас туда кинется и повторять не придётся...

- А вам приходилось в детстве, господин прокурор, иметь дело ещё с одним учителем - с пустым желудком?

- Да полно вам, Александр Ильич! В самых бедных-то сло­ях нашего общества с моралью ещё терпимо дело обсто­ит. Подлость часто как раз с достатком к людям приходит. Это не мной замечено: и покойник Руссо, а в наше время граф Толстой очень, как вам, конечно, известно, благородную бедность одобряют. Но я не хочу за них прятаться. Ведь если они богат­ство за зло почитают, а вы - бедность, то это означает, по-моему, что они с вами заодно: и они, и вы считаете, что мораль чем-то да обусловлена, против чего я тут и ломаю копья... Вот граф Толстой на цивилизацию все грехи сваливает: дескать, в неиспорченном цивилизацией мужике и живёт истинное-то понима­ние, что́ есть правда и что́ есть добро. И ещё в детях... Ну детей оставим в стороне: Достоевский правильно заметил, что они как всё равно другой от нас породы. Но вот неиспорченный мужик - почему я должен ему кланяться? Пускай он и хорош, по­ка не испорчен, но не испорчен-то он ведь только потому, что до него ещё очередь не дошла! Согласитесь, что главный-то вопрос в том, почему этот мужик так жаждет быть испорченным этой самой гнилой цивилизацией. Толстой готов, кажется, всю цивилизацию эту до основания разрушить, лишь бы мужика от неё защитить. А стоит ли? Ведь, как в народе говорят, свинья всё равно грязь найдёт. Имея возможность сделать выбор между ложью и правдой, люди в девяноста девяти случаях из ста предпочитают ложь, и никто-то не хочет быть как дитя!

Я очень хорошо понимаю, как Вы должны на меня негодовать за так называемого обыкновенного человека. Вам кажется, что мы тут с вами кардинально расходимся: Вы считаете, что этот обыкновенный человек может за идею на костёр взойти, а я его третирую как возможного убийцу и вора. Но и тут, смею вас уверить, Вы ошибаетесь. Ибо подвиг человеческий, как я понимаю, не вне его, а внутри совершается. Если вытравлено в нем то единственное, только ему одному данное Богом (называйте это как вам угодно - душой ли, совестью), то такой человек не способен на подвиг, хотя бы он и псалмы в пламени распевал. Потому что с самого начала, как бронёй какой непробиваемой, защищён он от всяких сомнений, а значит и от пони­мания того, что он совершает. Его сжигают на костре, а не сам он на нём горит, потому что не себе принадлежит этот человек и неведом ему голос того тирана, который единствен­но свободным человеком может повелевать. Вот и вертит он го­ловой, кто бы ему со стороны указание дал... Собственно, в личной-то своей жизни он может, вообще говоря, и без чужих ука­заний обойтись: чтобы нору свою уладнять да потомство на свет производить да вскармливать, никаких руководящих идей не тре­буется; любое насекомое все эти операции выполняет самым на­илучшим образом. Указание человеку нужно лишь, когда дело его общественного бытия касается, и тут он с превеликим наслаждением себе обычно погонялу находит, чтобы под команду «ать-два!» помаршировать всем гуртом... Тут, надо сказать, его вкусы с интересами властей вполне совпадают, так что можно только удивляться, как мало власти из этой гармонии извлекают для себя выгод. Видать, и в самом деле тупоумна, как Ваши дру­зья их постоянно аттестуют. А вот, быть может, Бог попустит, Ваши остроумные единомышленники к кормилу пробьются, так они уж не упустят возможности с выгодой для себя этой любовью в массах к маршировке попользоваться!.. Обыкновенный нормаль­ный человек, Александр Ильич, подобен двуликому Янусу: нас­колько он индивидуалист, насколько он несговорчив, когда речь идёт о достатках его брюха, настолько же он бывает рад изба­виться от всякой индивидуальности и настороженности, раз дело не касается его лично. И это тоже, замечу уж кстати, на руку Вашим друзьям: уж очень им эта индивидуальность поперёк горла становится! В одной вашей брошюре я встретил даже ругатель­ство такое - взбесившийся индивидуалист!.. Не подумайте, что я простой народ за собрание простаков принимаю. Нет-нет, на­род наш не глуп, свой интерес он очень даже хорошо понимает. Вот попробуй я кого-нибудь из них убедить, что у него целко­вый в кармане лишний - никто ведь мне не поверит. Наоборот, они сами меня, эти простые-то люди, семь раз вокруг пальца обведут!.. А знаете, ведь может быть, и прав народ, считая, что от всей этой общественной возни ему не будет ни тепло ни холодно. Ведь он, народ-то, как рассуждает: честный человек хлеб сажает, сапоги шьёт или ещё там каким-нибудь делом занят. А ежели чело­век все дела забросил и чёрт-те чем занимается-то он, просто лодырь и шерамыжник. Поэтому он и всех политиков, в том числе и вас, набивающихся на роль его защитников от угнете­ния, господ баламутов-социалистов, считает людьми корыст­ными, себе на уме, желающими на его же счёт поживиться. Слушает он вас да посмеивается: мели, Емеля, твоя неделя!.. Да и вообще, трудно требовать от человека рвения в делах, которые ему безразличны. И не в темноте здесь дело. Вот к примеру, нас с Вами взять. Помню, в гимназии нас учили, что свет представляет собой поток каких-то частиц, корпускул, что ли, или как их там. А сейчас, я читаю, новое откровение - нет никаких корпус­кул, а какие-то магнитные волны. Ну и что же я по этому поводу радоваться должен или негодовать? А завтра учёные, глядишь, ещё что-нибудь новое придумают, так что же, мне прикажете с колом бегать за теми из них, кто о магнитных волнах толковал! Так-то и народ: кто-то пусть болтает о монархии, социализме, прогрессе, а землю всё равно никому другому, как ему, пахать придётся.... Я бы ещё кое-что об эффектах, так сказать, чело­веческого общежития Вам хотел бы доложить, но это уж по­том, если время нам позволит, а сейчас ограничусь замечанием, что если в этой человеческой двуликости что и удиви­тельно, так только то, как, по своему обыкновению, рациональ­но распорядилась всем наша мать-природа. Труднее объяснить другое: откуда могут браться индивидуумы, которым ничто так не противно, как эта маршировка, которые готовы против всего стада переть только потому, что какая-то там паршивая совесть им, видите ли, повелевает. Ведь ясно же, как дважды два, что раз никаких высших принципов не существует, а есть только те­кущие интересы стада, служащие его преуспеянию, то таким ти­пам не должно быть места в этой стаде! Да и самого-то их су­ществования, если подумать хорошенько, нельзя признать: либо оно - мираж, либо и в самом деле эти субъекты просто ловкие мошенники, извлекающие из своих чудачеств какую-то невидимую обыкновенным смертным выгоду... Впрочем, ещё может быть, они всего-навсего выродки, слепая игра природы; ведь появляются же на свет люди о шести пальцах на руках. В этом случае, правда, од­но удивительно: пока нормальная часть человечества вела здоровый образ жизни, эти уроды со странным для уродов единооб­разием (ведь уродство - случайность и, значит, должно редко повторяться) в разное время, в разных углах земли, на разных языках твердили одно и то же о какой-то там треклятой совести...

- Ну и печёт же она вас, совесть эта! - усмехнулся Улья­нов. - Расстались бы уж с ней, что ли, поскорей, зачем так му­читься?

- Если, Александр Ильич, в бесконечную жизнь не веровать, то точно, совесть эта - проклятие для человека; лучше ему ро­диться калекой или глупцом, чем на каждом шагу держать его кто-то будет как на аркане: этого нельзя да этого не смей!.. Раз нет ни Бога, ни воздаяния в жизни вечной, то человеку луч­ше муравейника для своей общественной жизни образца не приду­мать: все его обитатели поглощены текущими его интересами, все заняты полезным для него делом... Заметьте, кстати: не составляет большого труда вообразить, что муравьи в своей рабо­те будут пользоваться какими-нибудь там рычагами или даже тачками, существо муравьиной жизни от этого мало изменится. Но разве можно себе вообразить муравья, который вдруг бросит дохлую муку и будет задавать окружающим его собратьям вопросы: а в чём смысл нашей муравьиной жизни? а зачем мы хлопочем? а хорошо ли обижать мух, грабить муравьёв из других муравейни­ков? И прочее, и прочее - без конца. А ведь если утверждать, что в существовании человеческого общества, а значит и отдель­ных его членов, нет никакого высшего морального смысла, что оно существует только для того, чтобы как можно дольше сущест­вовать, то нет и не может быть никакой принципиальной разницы между ним и обществом любых других живых существ. Даже более того, у муравья перед человеком все козыри, природа вместе с ним создала и идеальную форму муравьиного общежития; человек же миллион лет мучается в родах и до сих пор эту идеальную форму в виде социализма вынужден утверждать посредством бомб и ножей, проливая потоки крови, и еще неизвестно, достигнет ли он ее когда-нибудь. А, не дай Бог, достигнет, не захочется ли ему тогда повеситься… И тут еще под ногами у вас, людей стремящихся к муравьиному идеалу, путаются жалкие меланхолики со своими убивающими здоровую ини­циативу вопросами. И ежели они сами не вымрут, неизбежно ведь встанет вопрос помочь им в этом в будущем благоустроенном-то обществе, где все будут при деле... Да впрочем, и сейчас чего только с ним не делают, чтобы образумить. Да и в прошлом потачки им не давали: вот этаких-то, должно быть, в Спарте сбрасывали со скалы. Э! Да что там Спарта, мелочь. Уж и те­перь нам такой масштаб смешон, а о будущем и говорить не приходится: дабы не мешали они благоустроенному индустриаль­ному обществу преуспевать без всяких помех, не иначе как бу­дут их, как волков, отлавливать и уничтожать, ибо никакого компромиссного решения этой проблемы я не вижу: приспособить их для муравейника нельзя. Благополучие муравейника никогда не сможет для них быть главным, как для прочих муравьёв. И не может тут быть никаких переходов, немного того, немного этого! Мудро сказано в Евангелии: кому дано, тому будет прибавлено вдвое, а у кого мало - отнимется и последнее. И нет таких дово­дов рассудка, которые бы заставили обыкновенного человека или ефиопа себе изменить. Я уверен, что вот Вы, например, не толь­ко кому-нибудь другому, а и себе-то не можете до конца дока­зать, что надо жертвовать собою, делая то, что Вы считаете до­бром. То есть все Ваши рассуждения рано или поздно в такие по­ложения упрутся, которые доказать невозможно, и, в конце концов, у вас ничего не останется, как только повторить сказанное до Вас: делаю так, потому что не могу иначе. Вы, я надеюсь, со­гласитесь со мной, что такие вопросы, как бытие Бога и прочие, никогда не будут кем-то решены окончательно, а всем другим не останется ничего другого, как безоговорочно согласиться с чу­жими рассуждениями. Умные люди уже поняли, что эти вопросы решаются не логикой, а сердцем каждого человека в отдельно­сти, и нам ясно только одно: жалок тот человек, который поло­жится тут на чужое мнение. Он-то и будет дальше всех от истины...

- Тут я отчасти с Вами согласен - пусть так. Но главное Ваше утверждение, то есть, что совесть - удел избранных, всё же неверно. Я знаю (хоть и не столь преуспел в житейской мудрости, как Вы), люди часто поступают нечестно. Да разве есть та­кой человек, который бы мог о себе сказать: я всегда поступаю так, как велит мне моя совесть!

- Согласен. Но поступая против совести, испытывать-то её угрызения человек должен? А ведь люди рады бывают подлость какую-нибудь учинить!

- Я таких не встречал. Даже здесь в тюрьме, в людях, ко­торыми Вы себя окружили, и то совесть теплится. И в том, что она в них только теплится, я вижу её силу, а не слабость, по­тому что легко догадаться, как много уложено стараний вами, охранителями наших отечественных порядков, чтобы вытравить из них и последние её остатки.

- Ошибаетесь. Всё, что власть для этого сделала - это двенадцать рублей с полтиной жалования в месяц и казённые харчи. Те же самые, между прочим, которые и вы приемлете... Но даже, я думаю, и без всяких затрат эти люди делали бы своё дело, потому что уж очень они рады властям услужить. Будете вы властью - они для вас стараться будут, и окажись я тогда на вашем месте, и я бы имел утешительную возможность наблюдать тление в них совести… Позвольте мне с Вами поделиться одним очень поучительным воспоминанием. Сейчас-то настоящих подпольных революционеров совсем мало стало, а вот в конце царствования покойного императора частенько, бывало, лавливали мы конспираторов. И чтобы пойманного опознать, вызывала полиция всех петербургских двор­ников в участок... И сейчас перед моими глазами стоит эта кар­тина: сидит на стуле затравленный защитник прав народа, а ми­мо бесконечной вереницей целый-то день идёт и идёт этот самый народ, и столько в каждой бороде усердия - удерживать надо, а не поощрять!

А Вы толкуете о свободном волеизъявлении! Какая ещё этому народу нужна свобода? Что ему печатать, что демонстрировать? Да он свободнее любого парламентского деятеля! Всё, что он имеет сказать, он говорит сколько душе угодно; всё, что он хочет демонстрировать, он демонстрирует, когда давится в тол­пе, вопящей «ура!» по поводу комьев грязи, которыми её обда­ёт карета повелителя. Стоит ли для него стараться, идти в тюрьму, на каторгу?..

- Можно подумать, что прежде, чем стать прокурором, Вы хо­тели посвятить себя революции...

- И посвятил бы, если бы думал только о себе!.. Я ведь понимаю, Александр Ильич, как приятно этак на досуге погре­зить, будто сотворилась у нас в России республика и будто Вы блестящий парламентский оратор либо газету свою «Друг наро­да» издаёте. И все российские граждане газету Вашу читают, блестящие речи Ваши слушают и ни о чём больше помыслить не хотят, как только о свободе, равенстве и братстве... Блажен, кто верует! А я уверен в другом: ни к чему-то, кроме владычества новых, может быть ещё худших деспотов, революции эти не приведут.

Я ведь почему так смело берусь пророчествовать - примеров в истории тьма. Вам всё кажется, что вы что-то новое пропове­дуете, а ведь всё уже было, было и было. И в древнем Риме ра­бы восставали, и в Средние века, и в наше уже с вами время. И никто из вождей этих революций не говорил: это для того кровь льётся, чтобы нам, вождям, и всем, кто половчей окажется, до богатой жизни дорваться, а обещали все построить царство добра и справедливости. Недавно прочитал книгу об Аристонике, две с лишним тысячи лет назад восставшим рабам обещал государство-Солнце создать без рабов и господ. А деятели Французской революции? Царство добродетели с помощью гильотины уже начали было возводить. И Вы бы задумались: почему до сих пор эти идеи в жизнь так и не воплотились? Почему Вы считаете, что вот толь­ко сейчас время для них приспело? Не будут ли Ваши наследни­ки через тысячу лет опять то же самое говорить: тогда, мол, ещё исторических условий не было, а вот сейчас эти самые условия как раз и созрели?

- Последнее время в понимании исторического процесса прин­ципиальные перемены произошли. Вы знакомы с книгами Карла Маркса, господин прокурор?

- Ещё бы! Господа марксисты появились. Между прочим, на вас, на народников, очень нападают... Но что же, вы считаете, нового внёс господин Маркс в доказательство того, что наше время - самое подходящее для осуществления социалистических идей?

- Вы всё-таки, видимо, не читали или небрежно читали труды Маркса. Он научно обосновал неизбежность замены одной общественно-экономической формации другой: как на смену раб­ству неизбежно пришёл феодализм, феодализм сменился капита­лизмом, так после капитализма власть перейдёт к трудящимся, то есть будет социализм...

- Если бы господа марксисты так громко не аттестовали себя поборниками научных методов, то их можно было бы при­нять за новую религиозную секту... Уж будто до их Маркса и в истории никто не разбирался! Смею вас уверить, что бы­ли рабство, феодализм, капитализм, об этом уже давно учёные подозревали. Господину Марксу бесспорно принадлежит первенство заявить, что далее неизбежно следует социализм. А почему он неизбежно-то должен следовать, по-моему, ни из чего это не вытекает. Из общих соображений следует даже нечто противопо­ложное. Было рабство - боролись (история - борьба классов, ведь так?) рабы с рабовладельцами, а победили феодалы; был фе­одализм - боролись крепостные с помещиками, а победили капита­листы. Теперь борются капиталисты с рабочими, почему бы не вынырнуть кому-то, кроме капиталистов и рабочих? Кризисы, анархия производства - все это, может и доказывает, что дело на Западе кончится крахом. То есть отрицательный вывод, может быть, и верен, но положительных-то данных отсюда на будущее ника­ких не добудешь.

- Карл Маркс не занимался, извините меня, пустопорожней болтовнёй об общих соображениях, он анализировал экономичес­кие данные. Рабочему классу некого и незачем будет угнетать. Захватив в свои руки государственную власть, он освободит труд от капитала, устранит всякое угнетение, и государственная власть начнёт отмирать. Потому что, как Вам слишком хорошо известно, государство - это аппарат подавления.

- Эх господа, господа! Трудно всё-таки с вами, Бог с вами совсем!.. Государство будет отмирать! Сказали и успокоились. Ещё бы: как всё складно, научно! Государство - аппарат угнете­ния, угнетения не стало - аппарат за ненадобностью отмирает. Это ведь совсем так, как вы давеча говорили: мамы рожают де­вочек, папы – мальчиков.

Ну подумали бы, как это грудящиеся могут захватить государственную власть? Что сия фраза в действительности может означать? Ведь не може­те же вы, в самом деле, всерьёз утверждать, что все сто с лишним миллионов человек нашей обширной империи будут государственные дела вершить. Впрочем, вам и самим нелепость такого предположения, видимо, ясна, раз вы о каком-то аппарате говорите. Вот только поразмыслить над тем, что это за вещь такая, государственный аппарат, вам в голову не приходит, потому что всё вам тут ка­жется простым и очевидным, как падающее яблоко... Ну скажите, каким это образом он может отмирать? Что это, пятая нога, что ли, у собаки, которая от постоянного бездействия утончается и. наконец, совсем исчезает?.. Ведь государственный аппарат - это люди, целая каста людей, кровно заинтересованных в своем благо­получии. И вот, имея власть и возможность это благополучие ут­вердить и увеличить, эти будущие прокуроры, сенаторы, губерна­торы и полицмейстеры (а это будут они, хотя бы под другими названиями), вместо этого, вдруг будут стараться всего себя лишить! Чего ради? Обществу больше не нужны? Да кто вам ска­зал, что государственная власть для общества создана, а не на­оборот? Да люди эти тысячи аргументов отыщут, чтобы доказать, как они необходимы обществу, что общество без них дня не смо­жет прожить![[2]](#footnote-2) Или вы всерьёз думаете, что властители что-нибудь делать будут только потому, что так им какая-то теория велит? Что постоянно они будут перед глазами труды господина Маркса держать и действительность в соответствие с ними приводить? Ну чем это научнее детской веры вами же осме­янных энциклопедистов в просвещённого монарха? Да я, если вам угодно, в тысячу раз больше марксист, нежели господа марксисты, так рассуждающие! Разве вам не ясно, что их социализм только на том и может держаться, что при нём строго научные законы, открытые господином Марксом, действовать перестанут? Уж мы с Вами, кажется, договорились, что не только людоедские, но и самые гуманные теории в руках властей (вы сами это говорили) ничему другому, кроме оправдания угнетения, не служат. Ведь и в основе нынешней официозной идеологии лежит теория почти еди­номышленника вашего (это тоже Ваши слова) - социалиста Иисуса Христа. Он ведь тоже к чему только не призывал, владеть всем имуществом велел сообща, на богатых нападал. Вспомните хотя бы слова о верблюде и игольном ухе... Не удивительно, что в своё время и его, как и Вас, того, пресекли... А впоследствии ни­чего, совместили, и всем стало хорошо: и волки сыты, и овцы целы. Вот ведь сколько у Истории возможностей всякие неожидан­ные для мудрецов антраша делать...

Нет, нет, Александр Ильич, не для того правители на своих престолах восседают, чтобы народное благоденствие, хотя бы и в соответствии с законами господина Маркса, устроить. По мое­му слабому разумению, тут действие других законов наблюдать можно... Вот опять же, тех же господ марксистов взять: хоть и считают они себя материалистами, а скажите пожалуйста, отче­го это они так обижаются, когда человеческое общество сравнивают со стадом обезьян, например, или с волчьей стаей? Ведь аж в гонор впадают: в нас, в людях, мол, есть нечто, чего ни в одном животном нет! Ну какое тут ещё может быть не­что? И что в этих сравнениях унизительного может быть для че­ловека после того, как доказано, что он произошёл от обезья­ны, и его недалёкие предки жили стадами, послушно выполняя во­лю самцов-вожаков?..

Вы уже, верно, заметили, Александр Ильич: у меня такой склад ума, что я обязательно должен прибегать к наглядным примерам. Ах, как я всегда завидовал нашим адвокатам, которые, как пове­дут рассуждение, так и ведут его, следуя лишь стройным логи­ческим ходам... Тем более, что я очень допускаю, что и приме­ры-то мои не всегда бывают кстати, и уж конечно, они ничего до­казать не могут. Но - что поделаешь? - я не Спиноза, как вы уже могли, вероятно, заметить, и позвольте мне ещё раз прибегнуть к этому способу, чтобы закончить свою мысль.

На днях был я во французской оперетке... Не осмеливаюсь Вас даже о ней спросить: знаю, что Вы к такой чепухе, как опе­ретта, не можете быть причастны... «Миллион лет до рождества Христова» её название. Пошлейшая, разумеется, вещь, хотя дикарочки в своих первобытных неглиже очень и очень милы-с... Так вот. Чтобы жестокость нравов наших пред­ков подчеркнуть, автор изобразил их как стадо, где, кроме пра­ва сильного, никаких других законов и препон никто не знает. Кто первый схватил побольше дубину и огрел ею своего соперни­ка, тот и главарь. Все остальные ждут удобного момента самим завладеть этой дубиной, чтобы огреть главаря и сесть на его место. И вот, наблюдая всю эту белиберду на опереточной сцене, я вдруг отчетливо осознал ту истину, что никакое, даже самое дикое, общество при таких условиях существовать не могло. Ведь если бы борьба за главенство ничем не сдерживалась, то она продолжалась бы до полного уничтожения такого общества его членами. Даже самые трусливые и слабые из этих тварей могли бы рассчитывать на удачу, завладей они, примерно, ду­биной ночью, пока главарь спит. Значит, природа должна была создать какой-то тормоз. Она и создала его, в виде автори­тета власти и трепета в рядовых членах стада перед её носителями, такого же безотчётного и непреодолимого, как чувство голода или стремления к продолжению рода. Ваши друзья и все прочие моральные установления выводят из общественной сути человека: для удобства-де в общежитии люди их придумали. Но всё это, по-моему, ерунда-с. Любое общество прекрасно может просуществовать без истин вроде «полюби ближнего своего, как самого себя», но даже шайка разбойников дня не обойдётся без почитания не за страх, а за совесть своего атамана. Это одно условие (как любил выражаться учитель по математике в нашей гимназии) необходимо и достаточно для существования любого сообщества, начиная от волчьей стаи и кончая вашей социальной республикой. И только когда вожак одряхлеет, стая может отва­житься ради своего сохранения заменить его другим, более силь­ным. То, что на обладание главной дубиной почти всегда претендуют несколько кандидатов, благодетельно для общества: сильные личности, вроде вашего Осипанова, сознающие своё право на ду­бину в силу своей ничем не замутнённой уверенности в том, что только им ведомо, в чём состоит счастье их соотечественников и как надлежит к этому счастью идти, такие типы не дают властям спать и бездействовать, отчего могла бы произойти анархия, которая, впрочем, долго бы не продолжалась: народ сам найдёт себе нового пастуха...

Я заметил, Александр Ильич, как Вы встрепенулись, когда я о дряхлости вожака говорил. Вам бы очень хотелось тут с нашей матушкой Россией аналогию провести. Но, смею вас уверить, Вы сильно ошибаетесь, если считаете теперешнюю власть нашу сла­бой. Слабость власти заключается не в том, что под её водительством кому-то несладко живётся, или, там, какие-то непорядки в хозяйстве страны наблюдаются. Вы ведь так считаете? Сущая чепуха-с! Нищей-то страной, если хотите, так даже легче управлять! Ведь чтобы зажиточного гражданина ублажить, сколько средств надо на это угро­хать: его ведь на медный пятак не купишь. А главное, сколько пово­дов у таких граждан для неудовольствия! То имуществу их государствен­ные законы ущерб наносят, то привилегии их правитель не тронь! А по­том, глядишь, с сытого брюха он ещё о правах своей личности начнёт толковать! Правитель вертится-вертится, бедняга: как бы и того не обидеть, и другого ублаготворить... А с нищей голью ничего этого не требуется. О нарушении прав никто не тужит за их неимением, на иму­щество по той же причине тоже никто покуситься не может. Зато пово­дов для довольства на каждом шагу сколько угодно: перешиб кусок один голодный у другого - и рад до смерти. И тому, кто без куска остался, в голову не приходит на власть за это роптать: он глядит, как бы за счёт третьего поживиться... А слуги-то - верная стража трона! - как они-то дёшевы! Их хоть ещё в большей нищете, чем прочий граждане, прозябать заставь, они всё равно властям благодарны будут, потому что хоть и мало им перепадёт, да даром! Они счастливы будут и горды од­ним тем, что не надо им за эти гроши, как прочим, каждодневно спину гнуть на работе в поте-то лица, как господь Бог заповедал. Ах как че­ловеку любо от этой заповеди увильнуть, Александр Ильич! Освободи его от ярма да дай кнут в руки, чтобы своих вчерашних братьев по­гонять, - да за это любой до гроба служить будет верой и правдой, хоть в чёрном теле его содержи... Да чего много толковать! Вы возьми­те, к примеру, Францию, благо, о ней столько вашими единомышленниками рефератов написано. Один Людовик говорил: «Государство - это я!», другой: «После нас хоть потоп!». Угнетение и нищета при них были бес­просветные. И что же? Историки в один голос говорят, что это был рас­цвет абсолютизма! А головы лишился Людовик, который стал поговаривать, что надо бы что-то предпринять по части улучшения общественного зда­ния. Как вы думаете: говори он что-нибудь вроде «Я и народ едины», или: «Счастье народа - во мне», ведь тогда бы, может быть, революции пришлось бы подождать следующего Людовика? Но Бог с ним! При следу­ющем ли Людовике или через Людовика - революция произошла. Наполеон, конечно, Людовикам не чета, этому палец в рот не клади! Но почему же он-то у власти оказался, а не Робеспьеры с сен-жюстами, эти поборники свободы и народоправия? Читал я в ваших рефератах, читал - и изумлялся, до чего нежелание думать может людей довести! Ничего лучше Ваши друзья для объяснения этого придумать не могут, как только: тот-то деятель ошибался, другой недопонимал, третий недооценил. А вот ежели бы все эти деятели знали дело так, как авторы этих дурацких (извини­те - не удержался!) рефератов, восторжествовала бы воля народных масс, которые жаждут демократии. А по-моему, Робеспьер с компанией потому и остались на бобах, что следовали вашим же теориям, то есть были слепы и глухи; и даже хуже того: они страдали галлюцинациями, предпо­лагая в народе качества, которых у него на самом деле нет и быть не может. А вот каждый шаг Наполеона, каждый его успех обличает в нём действительного знатока этих самых масс. Авторы рефератов не упуска­ют случая заметить, что Наполеон только под Бородиным уложил францу­зов больше, чем их извели за все время революционного террора. Так почему же их соотечественники одного превозносили до небес, шли умирать за не­го с восторгом (одна эпопея «Ста дней» чего стоит!), а другого эти же самые массы с большим воодушевлением проводили на гильотину? Ну чем вы этот феномен объяснить можете? Странно у вас как-то получается: то вы толкуете, что всё в истории закономерно, а как до самого дела доходит - сплошные у вас ошибки да случайности.

- Это утверждение я оставляю на Вашей совести. И уж во всяком слу­чае, приход к власти Наполеона никто из нас никогда не считал делом случая: слишком очевидно, кому он послужил и кто его привёл к власти…

- Да кто это такой? Крупная буржуазия, что ли? А народ-то где был? Кто на улицах-то вопил ему виват? Тоже буржуазия? Кто в войсках его служил, в полиции? Ни один правитель не может без народа обойтись. И что ни больше тиран, тем больше на помощь этих масс рассчитывает. Но пользуется он не так называемой революционной активностью масс, как твердят Ваши обалдевшие от собственных домыслов друзья, и которой и в помине нет; а используют они в своих целях их контрреволюционную инертность. Заметьте: все эти массы примыкают к революции лишь на дру­гой день после неё, когда начинается уже собственно контрреволюция, и своим прирождённым желанием угодить власть имущим они помогают новым владыкам расправиться со всеми своими врагами. Наподобие слонов в древних битвах, массы своей тяжестью давят всё и всех, кто хоть маломальски выказывает поползновение быть чем-либо недовольным. Вы клей­мите реакцией время, когда этих слонов держат в клетках. Но можете ли Вы себе представить эпоху, когда они усилиями нечестных или наивных, вроде Вас, людей будут выпущены на волю? Египетские фараоны покажутся либералами в сравнении с деспотами, которые будут править с помощью этих всё сминающих слонов!

- Да чтой-то Вы так на простых людей ополчились? Чем же они хуже нас с Вами?

- Согласен, Александр Ильич! Я ничем не лучше их. Совершенно искренно Вам скажу: подучи малость да посади на мое место любого мужика - он не ху­же меня с моей должностью будет справляться. Да и я на его месте тоже сохой или шилом орудовать смогу. Дело не в отдельных личностях, Александр Ильич, а вот в этой самой массе, прах её побери! Я вот ещё раз к аналогии хочу для ясности прибегнуть. Саранча Вам, конечно, известна? Саранча летела, потом села. Всё съела - опять улетела. Александр Сергеевич, помните, находясь в Бессарабии, так шутить изволил? Шутки-то шутками, а каково людям от неё? И стали учёные к ней, к саранче, пригля­дываться. И вот что они, вычитал я, обнаружили. Есть, оказывает­ся, такой безобидный зелёный кузнечик. Прыгает себе, верещит, никто на него внимания не обращал. Случайно один учёный чудак, из тех, ко­му до всего дело есть (и над которыми, добавлю в скобках, мы так лю­бим потешаться), изучая лапки, или, может быть, крылышки этих жалких козявок, изловил их несколько дюжин и посадил в одну банку. Утром глядь - а они не зелёненькие, а коричневые. Повертел он их перед но­сом и видит, что они и не кузнечики вовсе, а саранча! Каков фокус! Вот то же и с людьми, Александр Ильич! Даже безобидные сами по себе человеческие качества каждого из них, когда действуют они как масса, делаются вредоносными. А уж о плохих и говорить нечего: всё звериное, что тлеет в каждом из нас, при объединении людей в стаю, вспыхивает ярким пламенем до размеров безумия. И эта саранча всё сожрёт, только успевай властитель идеи в огонь подбрасывать. И чем эти идеи нелепее будут, тем лучше. Важно только, чтобы масса их могла сразу в дело пустить. Скажут им, примерно, что все их невзгоды коренятся в рыжих волосах, - всех рыжих людей изведут, а заодно, конечно, и тех, кто в этом усомнится. И уж против такого общества не попрёшь, потому что не скажешь, что оно не демократическое!.. Ну как же вас не сравнить с мотыльками, летящими на огонь? Ведь ежели бы сбылись мечты ваши, и стали бы у нас в России большинством голосов все вопросы решать, с вас бы, с поборников всяких свобод, с первых бы шкуру содрать поста­новили. Да и всеобщей подачей голосов воспользовались бы ещё один раз - чтобы порешить раз навсегда никаких баллотировок впредь не про­изводить, а положиться во всём на великих и мудрых руководителей, которые придут на ваше место, место побитых каменьями пророков и мучеников... Впрочем, впоследствии вам, может быть и жертвенники воззажгут. Фимиам будут воскуривать вашей светлой памяти. А подле жертвен­ника построят тюрьму и кабак...

- Чтобы Вам не тратить понапрасну красноречия, скажу Вам, что Вы меня убедили: так бы оно и было, без сомненья... Если бы между людьми и саранчой в самом деле не было бы никакой разницы.

- Так по-вашему, я людей унижаю такими сравнениями? А Ваши друзья их не унижают? Я ведь Вам объяснил, что привёл эту аналогию только для того, чтобы вредоносность сбивания людей в массы показать. Пока люди, каждый по отдельности, своими делами занимаются: Богу ли молятся, хлеб ли сеют, книги ли пишут - никого из них я не считаю хуже себя и готов с каждым из них по-братски об­щаться, как с Вами мы сейчас, делиться всем, что за душой имею. А вот друзья Ваши их иначе, как стадо, и рассматривать не хотят. Разве я придумал и пустил в ход само это гнусное слово - массы? Разве не Ваши друзья относительно простых людей уже давно перешли на термино­логию из области зоологии?

- Что вы имеете в виду?

- Общественный инстинкт, классовое чутьё, может быть, это из книг об обезьянах или собаках? А выражение «коллективный разум», если имеются в виду люди, а не муравьи, что оно может обозначать? Я хоть признаю за людьми способность быть и саранчой, и людьми, а Вашим друзьям люди совсем не нужны, все их надежды связаны со звериным на­чалом в человеке: совесть не нужна! разум не нужен! Чутьё, инстинкт, они подскажут массе, что ей делать ...Нет, не желаю я обитать в ва­шем социалистическом муравейнике! Хоть я Вас давеча поддержал и ещё раз могу повторить: трудно преувеличить его недостатки. Однако... од­нако есть у него, у теперешнего нашего устройства российского, боль­шое достоинство сравнительно с тем, что стало бы, если бы Ваши друзья всё на научной основе созидать вдруг начали. Живём мы, со дня на день перебиваемся - и слава Богу! И народные массы у нас при деле: хлеб пашут да ремёслами пробавляются. Кое-что и у нас к лучшему идёт: вон, крепостного права не стало; людей теперь, слава Богу, собаками не тра­вят, ноздрей в застенках не рвут. Университетов развелось... хоть от­бавляй. Всюду прогресс! А ведь если настоящие-то деятели придут, вро­де Осипанова вашего, ведь это подумать страшно! С нашим русским размахом ведь такую французскую революцию можно отчудить - весь мир ахнет. Вы вот опять глуповскую историю извольте вспомнить, чем она у господина Щедрина кончается. Бородавкин был плох - так Угрюм- Бурчеев пожаловал. Помните, как он прямую-то линию прокладывал? Вы задумайтесь: какие ещё возможности угнетения людей остаются неисполь­зованными! Господин Щедрин как нечто совсем уж невероятное изображает глуповскую-то жизнь под водительством славного Угрюм-Бурчеева: живут все по ротам, на работу ходят да спать ложатся по командам. А ведь и въяве всё это можно попытаться воссоздать. Только, разумеется, во имя какой-нибудь великой цели, вроде вселенского братства. Кто его знает, а ведь может быть, в данный, так сказать, момент в России самое свободное за всю её историю общество процветает, и я, этот порядок защи­щая, и являюсь настоящим-то - хе-хе-хе! - либералом...

- Знаете, должен Вам, всё же, заметить, что сейчас речь идёт не о вселенском братстве, а о водворении у нас в России хотя бы относитель­ного порядка, вроде того, который существует в Европе, в Англии, на­пример, или в Швейцарии...

- И вы считаете, что у нас в России люди могли бы жить при таких же порядках, как в Швейцарии?.. Я, к сожалению, за границей не бывал и что за народ эти немцы, сказать не возьмусь. А хотелось бы посмотреть, как там всё устроено. Всё-таки, что ни говорите, а вековое раб­ство у нас в России не могло без последствий для психологии народной остаться. Какие уж там права личности! Кто кого смога, так тот того в рога. Ну что на этакой почве доброго могло произрасти? А немцу, и вправду, видно, до всего дело есть. Вот тут на днях в «Ве­домостях» любопытная заметка была напечатана. В швейцарском, видите ли, городе Базеле муниципалитет решил для городского музея картину прио­брести современного какого-то модного французского художника... Их сейчас тьма развелось - не упомнишь... Так часть жителей запротесто­вала: на кой, мол, ляд нам эта пачкотня нужна! Деньги-то у них муни­ципальные считаются общими, в виде налога со всех собираются... Ну так муниципалитет поставил на голосование всех граждан - покупать эту картину или не покупать. И большинство высказалось за покупку! Умилённый художник прислал просвещённым жителям города Базеля ещё три своих картины - в дар. Ну скажите по совести: есть у нас такой город либо весь, где бы такая штуковина могла случиться?.. Мне не то, Александр Ильич, удивительно, что у нас народ прекрасно без демокра­тии обходится, а то, как эта демократия в Швейцарии может существо­вать и не изводиться.

- И однако, она существует.

- Вам кажется, что этот факт против меня направлен? Я-то его могу попытаться как-то объяснить, а вот Вам, Александр Ильич, думаю, это будет потруднее сделать.

- Что же тут объяснять?

- А вот почему народ швейцарский ваших собратий-социалистов слушать там не хочет, скажите Вы мне. Ведь Вы говорили, что вы на свободу слова и печати сильно уповаете; что как толь­ко эти свободы будут у нас в России установлены, тотчас вы сво­ей пропагандой народ в веру свою обратите, и начнётся царствие социализма. Что же швейцарский-то народ ничего подобного не де­лает? Или тамошние социалисты глупее наших? Занимаются массы чепухой какой-то: картины покупать или не покупать. Смешно! Как это не надоумит их какой-нибудь гений великими делами заняться, цели бы ослепительные поставил, горизонты раздвинул!..

- Вы же знаете, для любого деятеля нужны подходящие условия и время...

- Ну да, в Швейцарии условия не созрели для социализма, а у нас всё в самый раз подошло! Не вы ли, господа прогрессис­ты, не уставали Россию без конца отсталостью от Европы попрекать? И вдруг - на тебе! Впереди Европы скачем! Ну я ещё могу наших славянофилов понять: те с самого начала Европу эту со всеми её злохитростными идеями анафеме предали. А вы-то! Весь ваш умственный и духовный скарб с Запада к нам завезён, а ев­ропейского политического опыта признавать не хотите!

- Почему же не хотим? Мы его самым внимательным образом всегда изучали (Вы же знакомы с темами наших рефератов), и при­менять готовы, - но в соответствии с нашими, русскими, условиями.

- Неужели в деревенскую общину верите? На социальные инстинкты (буду уж вашим звериным языком выражаться) мужика уповаете? Ой, поверьте мне: трудно вам будет сразу на двух стульях усидеть! Либо давайте вместе со славянофилами Европу анафеме предавать, либо признаем, что отстаём от неё и будем стараться наверстать упущенное, благо пример перед глазами и нам самим много мудрить нечего: в Европе все эти мудрости сто лет назад прошли…Никогда, по правде говоря, не мог уразуметь, на чём претензии господ славянофилов на какую-то особость русского на­рода основаны... Между прочим, и название-то «славянофилы» самозванное: ни поляки, ни сербы, ни чехи и никакие другие славяне ни на какой особый славянский путь не претендуют. Они живут себе в семье европейских народов и если чего побаивают­ся, так этого нашего славянофильства: как бы оно их от евро­пейской цивилизации не оторвало. Я думаю, и германцы, и галлы, и саксы тоже отечество своё любят и постоять за него готовы; но они же не кричат: мы самые-самые! Это у нас от диких времен в крови всё бродит: моё стадо лучше всех, и другим ещё себя покажет! Но свои дикие инстинкты человек должен же разуму под­чинять! Неужели эту истину, добытую ещё сотни лет назад, мы теперь должны сомнению подвергнуть? Чего же тогда стоит вся наша культура и просвещение?.. Я когда слышу речи, что русс­кий народ самый боголюбивый и что он больше других народов привержен справедливости, или, хотя бы, что русские - са­мые большие любители быстрой езды, - я вместо слова «русский» подставляю «немецкий», «польский» или «китайский», и мне сразу становится чувствительна фальшь таких истин! Нет, Александр Ильич, не будем обольщаться: если русский народ и отличается чем от других европейских народов, так только своей темнотой, неразвитостью, неуважением к самому себе. И говорить бы нам почаще об этих и других его недостатках, это и самому народу принесло бы больше пользы, чем приписывать ему несуществу­ющие добродетели. А уж возлагать на этакую-то его особость все свои упования, растить и холить наш вековой чертополох в надежде, что из него что-нибудь путное произрастёт, это зна­чит, по-моему, и вовсе перечеркнуть будущее нашего народа: разве можно куда-нибудь идти с такими веригами на ногах! Ведь швейцарцы почему картину-то купили? Не думаю, чтобы ихний про­столюдин в живописи больше нашего разбирался. Но народ тамош­ний дозрел до истины, что булку жевать - хорошо, по удобным дорогам ездить - хорошо, но и без картин жить нельзя! Конечно, помимо всего прочего, народ тамошний сыт: каждый уткнулся в свое корыто, и за этим приятным занятием недосуг ему слушать байки каких-то там социалистов про царствие небесное на швейцарской земле. А у нас другое дело: народ наш голодный, а вы его словами иноземными потчевать будете! Кому они нужны! Да что простой народ винить! Ведь и среди Ваших друзей слово «либерал» иначе, как ругательство, не употребляется. А в передовых журналах под громкие одобрительные возгласы просвещенной молодежи интеллигентные люди советуют выбросить с книжных полок Пушкина, а уж что касается картин, то все их надо, по их мнению, разодрать, если в них не изображены народные страдания. Словом, дайте нам демократию, и я готов голову свою на том заложить, больше трёх... ну пяти лет ей у нас никак не продержаться. Помилуйте! Разве наш народ может своей волей с выгодой для себя пользоваться? Тот­час у кого глотка больше и из самых бессовестных над ним верх возьмут!

- Не высокого Вы всё же мнения о нашем народе-то...

- Нет, почему же... Я готов-с воздать... и прочее... И то, что я говорю о его политической беспомощности, быть может, следствие как раз его положительных черт...

- Ну что же тут положительного? Глупость ведь.

- Не скажите. Честного человека, как известно, обмануть легче, чем пройдоху. Народ наш, как дитя, исполнен доверчивости. Его можно несчётное множество раз обманывать, потому что всякий новый раз он свято верит, что на сей раз у обманщика пробуди­лась совесть и тот говорит правду. Не знаю, уж как это вам по­кажется, положительной его стороной или отрицательной, но это так. И ежели ему дать сейчас швейцарскую демократию, то в очень непродолжительном времени он отдаст себя в руки ловких политиканов, которые погремят у него перед носом ка­кой-нибудь погремушкой, вроде вашего социализма.

- Но позвольте Вас спросить: что же нам, русским людям, остаётся делать? Жизнь наша, как Вы сами признаёте, отвратитель­на, а от попыток её улучшить она только может стать ещё хуже?

- Не надо быть такими нетерпеливыми, как Вы и Ваши друзья. Вам всё хочется побыстрей форму нашего правления изменить, а там хоть трава не расти! Вот Вы сказали: как в Англии или в Швейцарии. А ведь эти государства по-разному управляются; Бри­тания - монархия, а Швейцария - республика. Значит, дело не в политической форме правления. Вот мы с Вами, облизываясь, гово­рим: английское и швейцарское общества свободны! Но ведь мы по­нимаем, что свобода эта не может быть полной: люди в любом об­щежитии не могут делать по своему произволу всё, чего захотят. Значит, вопрос не в том: дать людям свободу или людей ее лишить, а в том, как создать такие условия, чтобы люди сами ограничивали свою свободу во имя свободы общей. Признавая за аксиому, что людям свойственно радеть о своём собственном благе, я не вижу другого способа заставить их пойти на такое самоограничение, как сделать его для всех выгодным. Я нахожу, что и в Англии, и в Швейцарии в основе их общественного строения лежит один главный принцип. Я бы его одним словом определил: терпимость. Тамошние люди - и не только власти, а что гораздо важнее, все граждане - понимают, что люди все разные, интересы у всех тоже разные, поэтому все тянут в разные стороны, потому что каждый тянет к себе. За каждым признаётся право жить так, как он хо­чет; делать, что ему заблагорассудится. Казалось бы, тут бы и разыграться анархии и всеобщей грызне, - ан, этого не происхо­дит! А почему? Да потому, по-моему, что каждый за всеми это пра­во признаёт, а не только за собой. А у нас - что? У нас каждый хочет свободы себе или своей клике, и только для того, чтобы всех других заставить плясать под свою дудку. Вот и Вы давеча гово­рили: дай, мол, нам свободу - и мы в непродолжительном времени всех к социализму приведём! Для всех нас, русских людей, свобо­да только способ достичь чего-то, что мы считаем более важным, чем она сама. Мы на свободе этой не остановимся; тотчас появятся деятели, начнут народ поучать: то-то ему любить, а то-то не любить, думать надо так-то, стремиться к то­му-то. А коль скоро они к кормилу правления пристроятся, зара­нее можно быть уверенным, что дела их подданных плохи: хоть, понятное дело, с языка у них и не будут сходить слова: доброде­тель, общее благо, служение обществу и тому подобное, но дела их роковым образом и всё в большей степени будут отдавать разбоем. Потому что краеугольная аксиома: что́ каждый к себе тянет - всё равно останется, а признаваться за гражданами рядовыми не будет.

Безусловно, самый умный и глубокий из всех русских револю­ционеров - Герцен (с удовольствием спешу засвидетельствовать к нему мое уважение) сказал: западная демократия есть компромисс между маленькой свободой и большой собственностью. И не счёл даже нужным дальше об этой гнилой демократии распространяться, настолько, в его глазах, скомпрометировала она себя этим, по его, Герцена, мнению, противоестественным союзом. Трудно спорить с человеком, пускай он и из диких принципов исходит, но еже­ли в рассуждениях своих последователен. Вот с Прудоном, напри­мер, я бы никогда по поводу собственности спорить не стал. Соб­ственность есть кража. Коротко и ясно! Уничтожьте собственность, и с ней исчезнут все напасти. Слыша такое, я сразу умолкаю. Умолкаю и стараюсь обойти такого проповедника стороной, потому что боязно, знаете ли, все-таки, да и за кошелек опасаюсь, потому что знаю склонность таких проповедников на полдороге останавливаться: мою-то собственность они у меня, безусловно, отнимут, а вот сделать ее общим достоянием забудут…Но Герцен-то не дошел до того, чтобы право на собственность у людей оспаривать…

- Смотря на что. В России до недавнего времени люди составляли собственность других людей.

- Верно-верно! И не только в России: когда-то везде рабство процветало. И, как это ни странно, была такая демократия, соединявшая право владения рабами с каким-то количеством свободы. Да и теперь, ежели мы вслед за Герценом в теперешнюю Европу вернемся. Капиталистическое рабство процветет. И Ваше с Герценом благородное негодование понять можно: у капиталиста – фабрики да заводы, а у рабочего – подачка в виде жалкого заработка, как Вы говорили, лишь бы с голоду не умер…Насчет голода-то, впрочем, думаю, это слишком сильно сказано, они, рабочие-то, там и одеваются вполне прилично… Но я к своей главной мысли никак не подойду. Главное, по-моему, заключается в том, что там правительство и за рабочими признает право добиваться для себя выгод, и за каждым в отдельности, и за всеми вместе. В этом я вижу залог прогресса в дальнейшем: в результате борьбы за свои интересы всех, признаваемой законной, имущественное неравенство будет уменьшаться. В этом заключается жизненность этого самого компромисса свободы с собственностью. Идеи же, вроде прудоновых (к счастью, они, я в этом совершенно уверен, навсегда останутся лишь в головах их создателей), эти идеи создали бы общество окостеневшее, не способное ни к какому развитию, а потому и невозможное в действительности, слава Богу! Ведь вот что меня пугает, Александр Ильич: даже такие умные головы, каковы Ваша с Герценом – хе-хе-хе! – так в России настроены: либо царствие небесное на земле…то бишь, социализм вам немедленно подавай, либо никакой демократии не надо. Либо все – либо ничего! Ведь такой взгляд к страшным результатам может повести. Пока мы в России, как дон кихоты, будем с пороками человеческими воевать да на создание социалистического рая, населенного ангелоподобными существами уповать, в гнилой Европе, создали общество, где пороки человечества служат ему на пользу…Вы вот с Вашими друзьями не перестаете твердить: прогресс да прогресс!..Ох, как с вами ухо надо держать востро, коль скоро у вас с языка какое иностранное слово слетает! Да что за зверь такой, прогресс этот самый? Движение общества вперед, так, что ли?

- Это слишком общее определение, хотя по существу верное.

- По существу!..Я и имел в виду существо. О нем, о существе этом, только и можно говорить, а уж коль скоро о частностях речь зайдет, тут люди друг на друга с ножами готовы кинуться…Я легко могу понять прогресс европейский: умные головы там не по Невскому с бомбами прогуливаются, а научными открытиями занимаются; другие умные головы изобретают машины, чтобы тотчас поставить эти законы людям на пользу, третьи – машины эти торопятся построить, четвертые на них трудятся. И так все, каждый в меру своих сил и способностей, делают свое обиталище по возможности более удобным для жительства. И никто не пристает к гражданам с ножом к горлу: почему, мол, ты это делаешь, не корысти ли ради? Что же против такого прогресса можно возразить?.. Но у вас тут, как и со свободой, загвоздка получается: опять же вам не само по себе улучшение человеческого бытия дорого, а какие-то никому не ведомые цели, которые где-то там впереди, как блуждающие огни, маячат…

Я вот замечаю, Александр Ильич, что мы с Вами словно бы ролями поменялись. Помните, в начале нашей беседы я все ратовал за высший моральный смысл человеческого бытия, в отличие от бытия муравьиного? А теперь вот мне Вас приходится отговаривать от надежд на царствие небесное на земле в будущем. Это, смею Вас уверить, не я впадаю с собой в противоречие, а Вы с Вашими друзьями-социалистами. Я-то ведь оговорочку сделал: все это так, если считать бытие господа Бога сомнительным. Только тогда у людей не может быть других целей в жизни, как только сделать ее полегче да повеселей. А ведь если он есть, Бог-то, то все наши рассуждения гроша ломаного не стоят. Ведь тогда – что жизнь человеческая на земле? Жалкий миг, в сравнении с жизнью вечной на небе! Это по-человечески жить полегче – хорошо, а ведь по-божески-то может оказаться – чем хуже, тем лучше. Безусловно, прав был праведный Иов: что́ ослы, волы, овцы, верблюды и даже земная жизнь родных детей в сравнении с вечным блаженством!

А вам-то, научным безбожникам, с какой стати я должен верить, что не только что муки и страдания, а хотя бы и житейские мои неудобства чем-то в будущем будут искуплены? Религия мне, во всяком случае, честно говорит: верь! Верь в то, что никаким умом не объять, никакой логикой не постичь. А Ваши друзья меня просто за дурака почитают: верь, дескать, нам потому, что мы больно учены да умны и лучше тебя знаем, что тебе надобно… Да еще на ближайших выгодах объехать людей норовят… Им ничего больше и делать не остается, как только общество понукать: вперед да вперед! Авось рано или поздно кривая куда-нибудь вывезет…И вот еще что в соображение надо взять: где у общественного развития вперед-то? Если Вас послушать, то перед этот всегда один, ибо он строго закономерен. Но ведь в таком случае все человеческое развитие, выходит, с самого начала уже было предопределено! Самое большое, что с ним может произойти, это то, что потолчется оно туда-сюда, чтобы потом неизбежно по начертанной вами прямой линии вперед устремиться. В утверждении этого взгляда всевозможные исторические анализы вас сильно подкрепляют: задним-то числом все так закономерно и неуклонно выглядит!..Исходя из этого, передовым деятелям остается только этот самый прогресс безостановочно по бокам охаживать: скачи себе, не оглядываясь по сторонам, все вперед! А может быть, там впереди-то, – пропасть либо трясина, и лучше повернуть назад либо объехать. Ибо, без сомнения, у истории много дорог: чуть отъехав, она снова останавливается в раздумье у развилки, и никто не поставит на распутье камень с надписью: направо ехать – без головы остаться, налево – коня потерять. Пускай любой из прогрессистов попробует предсказать очередной поворот истории, то-то угодит пальцем в небо!..Кто ее знает, швейцарская-то демократия к нам в свое время, может, и придет. Только прежде надо хорошие дороги навести, мосты построить, гати проложить через наши общественные дебри, благо в техническом развитии перед с задом не спутаешь. Развитие наук, распространение промышленности, постройка железный дорог, улучшение возделывания почв, - вот на чем зиждется, по моему глубокому убеждению, прогресс общественный!..Вот Вы, Александр Ильич, какое прекрасное Вы выбрали себе поприще – естественные науки, химия! Ах, если бы Вы занялись не изготовлением смертоносного динамита, а создали бы, например, какое-нибудь новое удобрение, которое повысило бы урожай ржи, там, или гречихи…я уж не знаю чего…в два, в три раза!..

- Я и собирался посвятить свою жизнь именно этому. Я бы и посвятил этому, если бы не одно соображение…

-Какое же?

- Я помогу мужику собрать втрое больше, а вы поможете помещику у него втрое больше отнять. Так стоит ли стараться, для помещика-то?

- Хе-хе! Шутить изволите? Впрочем, за откровенность спасибо!..Если бы я сейчас стал опровергать Ваше последнее утверждение, мне пришлось бы повторить все сказанное. Посему я ограничусь лишь замечанием: я глубоко верю, что наша русская отеческая монархическая форма правления одна только и возможна в нашем с Вами отечестве, и я почитаю за великую честь, я глубоко счастлив, что своими слабыми силами споспешествую ее укреплению. Что же касается темных сторон нашей действительности, то они постоянно улучшаются и со временем усилиями всех честных людей, истинных патриотов своей родины, будут устранены.

- Кто же эти истинные патриоты? Чиновники, фабриканты, помещики?

- Да, и они. А главным образом, все простые русские люди-труженики: фабричные, мастеровые и наш мужик, который вас не признал и, все же смею надеяться, не признает…

- Не шутите! Простые люди заняты отнюдь не устранением темных сторон нашей действительности, а поисками хлеба насущного или, может быть, водки. Не возводите на них напраслины! А потом: чем же и все другие смогут помочь прогрессу? Ведь, насколько известно, еще ни один чиновник вашего ведомства не изобрел паровой машины, ни один помещик не открыл электричества.

- Россия никогда не оскудевала превосходными учеными и инженерами. Помните? «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать»!

- Есть, верно, и Платоны, и Невтоны, вопреки вашим стараниям на стезе укрепления существующего порядка. А сколько этих Платонов по кабакам шляется!..Не было у меня с самого начала никакого желания вступать с Вами в спор. Многое из того, что мне сегодня пришлось от Вас услышать, я не считаю праздным и постараюсь как следует обдумать, благо досуга у меня хоть отбавляй. В Англии такие вещи обсуждают в гайд-парке, во Франции – в кафе, а у нас в России при укрепляемый вами порядках самым подходящим местом для этого властями считается тюрьма…Лищь одно мое мнение я бы хотел сейчас высказать, об отцовской нашей форме правления.

- Пожалуйста, сделайте одолжение, говорите.

- Вне всякого сомнения, никогда бы ей не износиться, и царству вашему конца бы не было, кабы не хотелось людям есть, думать, дышать свободно, жить по-человечески. Кабы не только у нас в России, а и во всем мире стояла бы жизнь неподвижно, как вода в вонючем болоте: ни грамотных людей бы не требовалось, ни ученых. Если бы для осуществления прогресса достаточно было одних мудрых предначертаний начальства, хорошей палки да дружного «ура», - все бы тогда было цело. Но беда в том, что прогресс от всего этого зависит в очень малой степени, а ваши истинные патриоты ничем другим прогрессу помочь на могут. Их головы совсем другими помышлениями заняты: как бы за счет любезного отечества чем поживиться! Уж Вам-то хорошо должно быть известно, что эти господа мимо рта ложки не пронесут…Да чего там! Те, кого Вы называете «истинными патриотами», ради своего благополучия готовы всю Россию без куска хлеба оставить, им бы только «ура» неслось безостановочно…Ввиду такого безобразия разве могут люди, на самом деле желающие своей родине и ее народу добра, оставаться равнодушными? Не знаю и не берусь предсказывать, что там за вашим правлением воспоследует, но не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что борьба неизбежно будет все более шириться и расти и ничем, кроме грандиозного краха вашей патриархальной формы правления, она кончиться не может. Величина же жертв борьбы (не думайте, что только нашего брата будут вешать) целиком зависит от ума власть имущих. Или, вернее, от их глупости. Все. Я больше ничего не имею…

- Ну вот Вы как! Ну зачем же так волноваться! Эх, молодо-зелено, горячо!.. О господе Боге, о пороках человеческих мы беседовали – все хорошо у нас с Вами шло. А политики коснулись – и точно перевернуло Вас всего! Может, и впрямь, Ваша правда, и такое остервенение добром не кончится…Ох-ох-ох, помилуй, Господи, нас, грешных…Смею, однако, надеяться, наш диспут не без обоюдной пользы состоялся. Еще раз позвольте высказать, что весьма сожалею, что знакомство наше произошло при столь печальных для Вас обстоятельствах. Да-с, весьма сожалею-с!..Однако – ай-ай-ай – время-то, смотрите-ка, как бежит, уже шестой! Сейчас я попрошу доставить Вас на Ваше место, а Вы все-таки поразмыслите над тем, что я Вам сказал… Ну!..

Михаил Михайлович поднялся с кресла и, словно извиняясь, развел руки:

- Всего Вам доброго!

Потом взял со стола колокольчик и позвонил.

- Увести!

1969-70гг.

1. Недавно (в 2015 году) прочитал в газете, оказывается, был, действительно, такой приказ спущен с самого верха. Видимо, в пику иностранным провокаторам, недовольным советско-германской дружбой. [↑](#footnote-ref-1)
2. У них и более убедительные средства найдутся. Ну да, те же, испытанные, - тюрьма и палач. [↑](#footnote-ref-2)